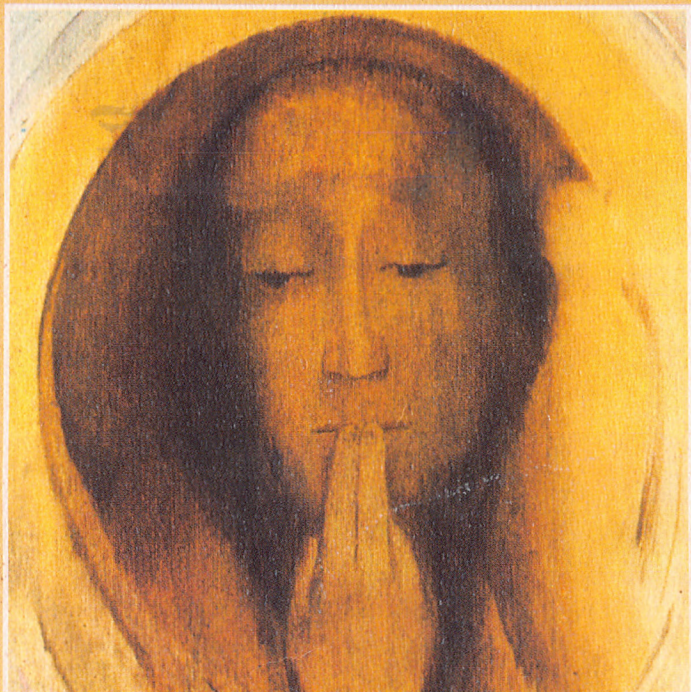


Генрих Бёлль АНГЕЛ МОЛЧАЛ

ТЕКСТ



ТЕКСТ

Генрих Бёлль

Ангел молчал

История любви
среди развалин

«ТЕКСТ»
КНИГИ КАРМАННОГО ФОРМАТА

56



HEINRICH BÖLL
DER ENGEL
SCHWIEG

KIEPENHEUER & WITSCH

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ
АНГЕЛ
МОЛЧАЛ

Роман

*Перевод с немецкого
Е. Михелевич*

МОСКВА «ТЕКСТ» 2001

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)
Б43

*Федеральная программа
книгоиздания России*

*Книга издана при поддержке
Фонда Inter Nationes (Бонн)*

*Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln
von Inter Nationes, Bonn gefördert*

ISBN 5-7516-0236-6

© 1992 by Verlag Kiepenheuer & Witsh, Köln
© «Текст», издание на русском языке, 2001

I

Света от пожаров в северной части города хватило, чтобы ему удалось прочесть буквы над порталом: «Дом... сент...», и он начал осторожно подниматься по ступеням. Одно из подвальных окон справа от лестницы светилось, он помедлил немного, тщетно пытаясь разглядеть что-нибудь за грязными стеклами, потом медленно двинулся дальше навстречу собственной тени, которая над его головой тоже поднималась по уцелевшей стене дома, увеличиваясь в ширину и высоту, словно полупрозрачный призрак с беспомощно болтающимися руками. Тень все разбухала и разбухала, пока ее голова не достигла края стены и не опрокинулась в пустоту. Наступив на осколки стекла, он принял немного вправо и испугался так, что сердце бешено заколотилось. Он почувствовал, что дрожит: справа, в темной нише стоял некто, совершенно неподвижный. Он попытался было что-то крикнуть вроде «алло!», но голос от страха звучал совсем слабо, да и сердце стучало так, что было не до крика. Фигура в темной нише не шелохнулась. Она держала в руках что-то похожее на палку; когда он робко подошел по-

ближе и понял, что это была статуя, сердце продолжало биться с той же силой. Он подошел еще ближе и в полутьме разглядел наконец каменного ангела с ниспадающими до плеч пышными локонами и лилией в руке. Он наклонился вперед так сильно, что его подбородок чуть не коснулся груди ангела, и долго, с непонятной радостью вглядывался в это лицо, первое, встреченное им в городе; каменное, ласково и жалостливо улыбающееся лицо ангела, а также его волосы были покрыты толстым слоем темной пыли, даже в углублениях его невидящих глаз лежали темные хлопья. Он осторожно, почти любовно сдул их и, тоже улыбаясь, смахнул пыль уже со всего лица и тут обнаружил, что улыбка у ангела гипсовая. После того как копия была отлита, налипшая на статую грязь придавала ее чертам благородство оригинала. Но он продолжал сдувать эту пыль, очистил и длинные локоны, и грудь, и ниспадающие одежды, осторожными короткими выдохами высвободил из-под нее и гипсовую лилию. Радость, пронзившая его при виде улыбающегося каменного лица, все больше угасала, по мере того как все яснее проступали яркие, режущие глаз краски и золотые кромки одеяния — весь этот невыносимый глянец индустрии благочестия, и улыбка на лице ангела вдруг показалась ему такой же мертвой, как чересчур пышные волосы. Он медленно отвернулся и направился

в вестибюль, чтобы поискать вход в подвал. Сердцебиение прекратилось.

Из подвала пахнуло в лицо душным, застоявшимся воздухом. Он медленно спустился по скользким ступенькам и стал ощупью пробираться сквозь желтоватый сумрак. Откуда-то капало; вода смешивалась с пылью и щебнем, отчего ступеньки сделались осклизлыми, как дно аквариума. Он прошел дальше. Из какой-то комнаты в глубине коридора исходил слабый свет, наконец-то свет. Справа он заметил табличку и прочел в полутьме: «Рентгеновский кабинет, просьба не входить». Он подошел поближе к двери освещенной комнаты, свет в ней был мягкий и желтый, очень приятный, по мерцанию он догадался, что там горела свеча. Не было слышно ни звука, повсюду под ногами валялись куски штукатурки, камни и комья какой-то непонятной грязи, которая всегда образуется в развалинах после налетов. Все двери были распахнуты, и он, проходя мимо, видел в слабых отсветах далекой свечи нагромождения стульев и диванов, а также переломанные шкафы, из недр которых что-то вываливалось наружу. В воздухе стояла такая вонь — смесь застоявшегося дыма и отсыревшего мусора, — что его затошнило.

Дверь комнаты, из которой лился свет, была распахнута. Рядом с большой свечой в железном подсвечнике стояла монахиня в темно-

синем одеянии. Она размешивала салат в большой эмалированной миске. Листики салата были покрыты чем-то белым, и он услышал, как на дне миски тихонько хлюпает соус. Широкая рука монахини медленно помешивала листья салата, мокрые листочки то и дело падали через край. Она спокойно их подбирала и вновь бросала в миску. Рядом с бурым столом стоял большой жестяной бидон с горячим и водянистым бульоном, от которого неаппетитно пахло горячей водой, луком и какими-то концентратами.

Он нарочито отчетливо произнес:

— Добрый вечер.

Монахиня испуганно обернулась. На ее плоском раскрасневшемся лице был написан страх, когда она тихо сказала:

— Боже мой, солдат!

С ее пальцев в миску капал беловатый соус, а к рукавам прилипло несколько крошечных листочков салата.

— Боже мой, — испуганно повторила она. — Что вам надо, что случилось?

— Я ищу одного человека, — ответил он.

— Здесь?

Он кивнул. Теперь его взгляд упал направо, внутрь открытого шкафа, дверцу которого вырвало воздушной волной: он заметил, что остатки разбитой фанерной дверцы еще висели на петлях, а пол перед шкафом был усеян мелкими кусочками отлетевшей краски. В

шкафу лежал хлеб. Много буханок хлеба. Не меньше десятка коричневатых круглых буханок со сморщенной корочкой были наспех свалены друг на друга. У него мгновенно набежал полный рот слюны. Он с трудом проглотил ее и подумал: «Я поем хлеба. Во всяком случае, я поем хлеба». Выше полки с хлебом висела зеленоватая рваная занавеска, видимо скрывавшая еще сколько-то буханок.

— Кого именно вы ищете? — спросила монахиня.

Он обернулся к ней.

— Я ищу... — сказал он и замешкался, потому что полез в верхний карман кителя за запиской. Пошарив там, он вытащил из глубины кармана клочок бумаги, развернул его и сказал: — Я ищу Комперц, фрау Комперц, Элизабет Комперц.

— Комперц? — переспросила монахиня. — Комперц... Не знаю...

Он пристально взглянул на нее: широкое бледное и туповатое лицо монахини беспокойно дергалось, и кожа елозила по нему, словно под ней не было костей, а большие водянистые глаза смотрели на него с нескрываемым ужасом. Она глухо выдавила:

— Боже мой, ведь в городе американцы. Вы удрали из армии? Вас обязательно схватят...

Он отрицательно покачал головой, вновь уставился на хлеб и еле слышно спросил:

— Можно посмотреть, здесь ли эта женщина?

— Конечно, — сразу согласилась монахиня. Она бросила быстрый взгляд на полку с хлебом, стряхнула салатные листочки и брызги соуса и вытерла руки полотенцем. — Может, вам лучше все-таки... в администрацию? — проронила она встревоженно. — Но думается, ее здесь нет. У нас осталось всего двадцать пять пациентов. Среди них нет фрау Комперц. Нет такой. Полагаю, нет.

— Но она тут была, это точно.

Монахиня взяла со стола ручные часы, маленькие круглые старомодные серебряные часики без браслета.

— Сейчас десять часов, мне пора раздавать еду. Мы с этим часто запаздываем, — добавила она извиняющимся голосом. — Может, вы все же немного подождете? Есть хотите?

— Да, — твердо сказал он.

Она вопросительно взглянула на миску с салатом, на полку с хлебом, потом перевела взгляд на него.

— Хлеба, — выдавил он.

— Но у меня нет лишнего, — возразила она. Он рассмеялся.

— Это правда, — обиделась она. — В самом деле нет.

— Боже мой, — сказал он, — сестрица, я знаю. Но мне кажется, если бы вы могли дать мне совсем немного хлеба... — И опять его рот

в ту же секунду наполнился слюной, он сглотнул ее и едва слышно повторил: — Хлеба.

Она подошла к полке, вынула одну буханку, положила ее на стол и начала искать ножик в выдвижном ящике.

— Да ладно, можно и просто отломить. Ничего, не беспокойтесь. Спасибо.

Она локтем прижала миску с салатом к боку, другой рукой подхватила бидон с бульоном. Он посторонился и взял со стола хлеб.

— Я сейчас вернусь, — сказала она уже в дверях, — ее фамилия Комперц, верно? Я там спрошу.

— Спасибо, сестрица! — крикнул он ей вслед.

Он торопливо отломил от буханки большую горбушку. Подбородок его задрожал, и он почувствовал, как мѣшцы рта судорожно сжались и лязгнули зубы. Потом вгрызся в бугристую мякоть и задвигал челюстями. Хлеб был черствоватый, наверняка пролежал дней пять или около того, а может, и больше, простая буханка из муки грубого помола с красноватой наклейкой какой-то пекарни. Но такой вкусный! Он вгрызался все глубже в горбушку, сжевал и твердую коричневатую корку, потом опять схватил всю буханку и отломил от нее еще кусок. Держа его в правой руке, левой он вцепился мертвой хваткой в буханку, словно боясь, что кто-то придет и отнимет ее. Он жевал и смотрел на свою руку, лежавшую на бу-

ханке, — худую и грязную руку с огромной царапиной, покрытой грязью и засохшей кровью.

Он бегло оглядел комнату. Не комната, а каморка. Вдоль стен — шкафы, выкрашенные белой краской, у которых почти все дверцы вырваны взрывом. Кое-где наружу высовывалось постельное белье, под кожаным диваном в углу валялись медицинские инструменты. У окна стояла убогая черная печурка с трубой, выведенной наружу через разбитое стекло. Рядом с ней лежала кучка щепок для растопки и горка брикетов. Рядом со стенным шкафчиком, набитым медикаментами, висело очень большое черное распятие, а ветка бука, засунутая за него, соскользнула вниз и теперь едва держалась на весу, зажатая между концом креста и стеной.

Он опустил на какой-то ящик и отломил еще кусочек от буханки. Хлеб все еще казался ему необычайно вкусным. Каждый раз, отламывая кусок, он сразу выедал мякоть, потом, ощутив вокруг губ приятное сухое прикосновение к хлебу, вгрызался в глубь куска. Хлеб был такой вкусный!

Внезапно он почувствовал, что за ним наблюдают, и поднял взгляд: в дверях стояла очень высокая монахиня с узким бледным лицом, губы у нее тоже были белые, а огромные глаза холодны и печальны.

Он выдавил:

— Добрый вечер.

В ответ она только кивнула, вошла в комнату, и он увидел, что локтем она прижимала к себе большую черную книгу. Монахиня направилась прямо к желтой алтарной свече, стоявшей в железном подсвечнике между пробирками на белом столике, и кривыми ножницами сняла с нее нагар. Мигавшее пламя сразу стало маленьким и ярким, а часть комнаты погрузилась в темноту. Потом монахиня подошла к нему и сказала негромко и очень спокойно:

— Пожалуйста, немного подвиньтесь.

И села на ящик рядом с ним.

От ее синей крахмальной рясы исходил отчетливый запах мыла. Она вынула из кармана черный футляр с очками, щелкнула его крышкой и открыла принесенную книгу.

— Комперц, правильно? — опять негромко спросила она.

Он кивнул и проглотил последний кусочек хлеба.

— Ее здесь уже нет, — заметила она тихим голосом. — Ее выписали несколько дней назад, нам нужно было освободить место. Так что всех местных пришлось отправить по домам. Но я посмотрю...

— Вы ее знали? — спокойно спросил он.

— Да, — ответила она и, оторвав глаза от книги, взглянула на него. Ее холодные и печальные глаза заметно потеплели. — Но ведь вы не ее муж? — Она вновь отвернулась и на-

чала перелистывать большие, густо исписанные страницы. — У нее было что-то с желудком, правильно?

— Не знаю.

— Господи, ведь ее муж приезжал сюда всего несколько дней назад. Он фельдфебель, как и вы. — Бросив беглый взгляд на его погоны, она перестала листать книгу, потому что добралась уже до последней страницы. — Вы служили с ним в одной части?

— Да.

— Он еще успел навестить ее и посидеть на ее кровати. Боже мой, мне кажется, прошло так много времени, а ведь это было несколько дней назад. Какое у нас сегодня число?

— Восьмое, — ответил он. — Восьмое мая.

— А мне кажется, это было так давно!

Ее длинный бледный палец теперь продвигался по последней странице книги снизу вверх.

— Комперц, — прочитала она, — Элизабет Комперц, выписана шестого. То есть позавчера.

— Скажите мне, пожалуйста, ее адрес.

— Рубенштрассе, — ответила монахиня. — Рубенштрассе, восемь. — Она встала с ящика, обернулась и сунула книгу под мышку. — А в чем дело, что случилось с ее мужем?

— Он умер.

— Он погиб на фронте?

— Нет, его расстреляли в тылу.

— О Боже! — Она оперлась о столешницу, взглянула на остатки хлеба и тихо выдавила: — Поберегитесь, в городе много патрулей. Они очень суровые.

— Спасибо, — хрипло сказал он.

Она медленно направилась к двери, но опять обернулась, чтобы спросить:

— Вы местный, сумеете сами найти?

— Да, — проронил он.

— Желаю удачи, — откликнулась она и, прежде чем отвернуться, еще раз пробормотала: — О Боже!

— Спасибо, сестричка! — крикнул он ей вслед. — Большое спасибо!

Он отломил себе еще кусок хлеба и опять принялся жевать. Теперь он ел очень медленно, спокойно, и хлеб все еще казался ему необычайно вкусным. Пламя опять выело ямку вокруг фитиля, и тот стал длиннее, а свет свечи более ярким и осветил все углы комнаты. Тут в коридоре послышался шум — легкое шарканье монахини, ушедшей с миской салата, и за ней — нетерпеливые мужские шаги.

Монахиня вошла в комнату в сопровождении доктора, поставила пустую миску и бидон под стол и принялась ковырять кочергой в печке.

— Приятель! — воскликнул доктор. — Война кончилась, мы проиграли, скиньте с себя это барахло, а железяки выбросьте на помойку!

Доктор был совсем еще молодой, лет тридцати пяти, лицо у него было широкое и румяное, но какое-то странно помятое, словно он только что проснулся, долго проспав в неудобной позе. Ганс сразу почуял запах табака и заметил, что доктор держал за спиной дымящуюся сигарету.

— Подарите мне одну сигарету, — попросил он.

— Ого! — воскликнул доктор, но все же вынул из кармана халата пачку, и Ганс увидел, что в ней остались еще две с половиной сигареты. Доктор протянул ему половинку и сказал: — Приятель, глядите в оба, чтобы вас не сцапали.

Потом вынул из-за спины горящую сигарету, и Ганс заметил, что пальцы у него толстые и желтые, а ногти ломкие.

— Спасибо, — выговорил он наконец, — большое вам спасибо.

Доктор достал из какого-то ящика ампулы, сунул нож и ножницы в карман халата и вышел из комнаты. Ганс пошел вслед за ним. Приземистая фигура быстро удалялась по темному коридору в сторону лестницы. Ганс крикнул:

— Подождите секунду, пожалуйста!

Доктор остановился, и, пока оборачивался, Ганс на миг увидел его тупоносый профиль. Догнав доктора, Ганс сказал:

— Я задержу вас на минуту.

Доктор промолчал.

— Мне нужны документы, — сказал Ганс.

— Вы шутите, приятель! — воскликнул доктор.

— Причем настоящие, — добавил Ганс. — Здесь у вас должны быть документы, лучше умершего человека. Постарайтесь, пожалуйста.

— Вы с ума сошли.

— Отнюдь. Просто я не хочу попасть в плен. Я здесь живу, у меня полно дел: нужно кое-кого разыскать. Помогите мне.

Ганс умолк. В темном коридоре он не мог как следует разглядеть лицо доктора, но почувствовал в этом сыром и спертom воздухе совсем близко его горячее дыхание.

В тишине было слышно, как где-то рядом осыпается штукатурка.

— А деньги у вас есть? — наконец прошептал доктор.

— Пока еще нет, но скоро, когда я... Когда я побываю дома.

— Эта вещь стоит дорого.

— Знаю.

Доктор опять умолк, потом выплюнул окурок, и Ганс увидел, как тлеющий огонек ткнулся в стену и рассыпавшиеся искры осветили голую грубую кладку. Потом окурок зашипел и погас в луже. Ганс почувствовал, как сильная рука доктора крепко сжала его плечо, и хриплый голос сказал:

— Подождите здесь, мне сейчас некогда.

Он отпихнул его в сторону, распахнул какую-то дверь, втокнул Ганса внутрь и быстро удалился.

Ганс оказался в раздевалке. В крошечной тьме он нащупал узкую скамейку, опустился на нее и медленно провел ладонью по слабо пахнувшей деревом обшивке стены. Тут все вроде бы уцелело. Доски были гладкими и приятными на ощупь, но пальцы его вдруг наткнулись на что-то шелковистое — видимо, одежду. Он встал со скамьи, нашел наверху вешалку и снял вещь. Очевидно, то был плащ из мягкого тонкого материала. Ганс нащупал большие роговые пуговицы и свободно свисающий пояс, пряжка которого задела его по ногам. От плаща пахло женщиной — пудрой, хорошим мылом и даже слегка губной помадой. Держа плащ за вешалку, он ощупал его карманы: левый оказался пустым и дырявым — его рука вылезла наружу, в правом зашелестела бумага, и, сунув руку поглубже, он нашел там какой-то плоский и твердый предмет. Вытащив находку, он в темноте вновь повесил плащ на тот же крючок.

Находка оказалась металлическим портсигаром, Ганс нащупал кнопку, и крышка со щелчком открылась. Внутри были сигареты. Он тщательно их пересчитал, осторожно проводя по ним кончиком пальца. Их было пять.

Он вынул две, защелкнул крышку и сунул портсигар в карман плаща.

Внезапно он почувствовал страшную усталость, от выкуренной половинки сигареты его потянуло в сон. Сунув обе сигареты в верхний карман кителя — туда же, где лежала бумажка с адресом, — он уселся на пол, прислонился спиной к стене и вытянул ноги, насколько хватило места.

Сонливость как рукой сняло. Сидеть на полу было холодно, и шея заоченела — холод пробирался от ног вверх. Ледяным воздухом тянуло из щели под дверью, и струя эта прямым ходом через позвоночник добиралась до шеи. Он встал и распахнул дверь. Из темноты на него опять пахнуло сыростью и затхлостью, из-за вони от мокрого мусора и запаха застоявшегося дыма дышать было трудно. Ганс закашлялся. Он не знал, который час, помнил только, что доктор обещал вернуться. Монахи-ни, по-видимому, ушли. Дверь в их комнату оказалась запертой, он вернулся в раздевалку, на ощупь нашел женский плащ и надел его. Плащ был ему впору, только рукава оказались коротковаты. Сунув руки в карманы, он нашел в правом кармане носовой платок и заткнул им дыру в левом. Смял шуршащую бумажку. Потом застегнул деревянную пряжку на поясе, захлопнул дверь раздевалки и ощупью поднялся по лестнице.

Наверху тоже было темно и тихо. Там, где сквозь щели виднелся кусочек неба, оно казалось спокойным и более светлым из-за облаков. Проход в левое крыло огромного здания был завален обрушившимися бетонными плитами, сквозь щели между ними он различил в темноте полностью разрушенные комнаты, покосившиеся стальные балки и почуял отвратительный запах отсыревшей щебенки. Повернув направо, он пошел по открытому коридору и внезапно услышал дыхание множества людей: видимо, за несколькими темными дверными провалами в комнатах спали люди, спертый воздух там пропах потом, мочой и испарениями согревшихся под одеялами тел, но все эти запахи подавляла все та же отвратительная вонь отсыревшего мусора, пропитанного дымом. Теперь Ганс уже ясно слышал тихие стоны и шумное дыхание людей, а в углу одной комнаты даже увидел красноватый кончик тлеющей сигареты.

Коридор поворачивал налево за угол, и тут он наконец увидел свет. Отблески этого света падали на большую желтоватую стену, обои на которой были закопчены пламенем пожара. Справа он увидел развалины разрушенного операционного зала: разбитые стеклянные шкафчики, разбросанные инструменты, мягкую кровать, наполовину заваленную штукатуркой; огромная и совершенно целая лампа с белым стеклянным колпаком бесшумно и

угрожающе раскачивалась в темноте из стороны в сторону, словно огромное и отвратительно опрятное насекомое. Подойдя поближе, он заглянул через щель в бывшую операционную: огромная лампа висела на тоненьком черном проводе и раскачивалась от собственной тяжести. Он заметил, что она медленно опускается все ниже и ниже, что огромный и отвратительно опрятный белый колпак все сильнее раскачивается, потому что в невидимой Гансу уцелевшей части крыши один за другим вываливаются крюки, на которых держался провод.

Свет сочился в конце коридора из большого многоячеистого окна, затянутого дырявой простыней. Колеблющийся свет свечи едва проникал через простыню в виде слабого золотистого мерцания, но через дыры на противоположную стену падали большие желтые пучки света, производившие на ней впечатлительные масляных пятен. Ганс заглянул в щелку: между четырьмя большими горящими свечами в железных канделябрах стояла каталка, похожая на катафалк. На ней лежала, видимо, старая женщина, Ганс разглядел лишь ее затылок: пышные седые волосы, переливавшиеся в свете свечей серебром. У оперировавшего ее хирурга были видны лишь покрасневший от напряжения и покрытый морщинами лоб над марлевой маской и руки, которые то поднимались, то опускались. Царила мертвая тишина.

В изножье каталки стояла та бледная монахиня, что приносила большую черную книгу и потом сидела рядом с Гансом на ящике. Она подавала хирургу инструменты и тампоны все с тем же спокойным, почти безразличным лицом. Белый чепец реял над ее головой словно громадная бабочка, а тень от чепца, черная и четко очерченная, похожая на огромный бантик на голове маленькой девочки, тихонько подрагивала на стене. Другая монахиня, стоявшая спиной к Гансу, передвигала свечи с места на место, повинаясь коротким нетерпеливым жестам хирурга.

Сам хирург так низко склонился над распростертой пациенткой, что казалось, будто он стоит на коленях, его голова лишь изредка приподнималась, когда ему нужен был какой-нибудь инструмент. Потом над лежавшей на каталке женщиной появился его крупный торс, и что-то шлепнулось в ведро, стоявшее позади него, а белые резиновые перчатки доктора стали темными от крови. Он стащил их и швырнул на стол за спиной, потом сорвал с лица марлевую повязку и пожал плечами. Монахиня, стоявшая сзади, набросила на лежавшую женщину большую простыню и развернула каталку. Теперь Ганс отчетливо увидел лицо женщины: оно было белым как мел.

Ганс медленно поплелся обратно. Изю всех щелей дуло. В черном провале больничной па-

латы все еще тлела сигарета. Он вошел в душливую атмосферу комнаты, ощупью пробрался вдоль кроватей и только теперь увидел, что окна были завешены толстыми одеялами. Кровати стояли почти вплотную друг к другу, а в узких проходах между ними поблескивали эмалью ночные горшки. Сигарета в углу продолжала тлеть. Теперь он уже различал очертания предметов, увидел, что посреди комнаты стоит большой стол, а стены испещрены выбоинами, где штукатурка осыпалась, обнажив кладку, а также разглядел в углу комнаты лицо, освещавшееся вспышками сигаретного огонька: то было узкое молодое лицо женщины, обрамленное платком в желто-черную полоску. Лицо это было такое бледное, что в темноте казалось совершенно белым и смутно светилось. Ганс подошел поближе к ее кровати и попросил огня. Он разглядел пушистый голубой рукав и маленькую руку, протянутую к его сигарете. Ганс прикурил. Она не издала ни звука, и тут он увидел вблизи ее глаза — они были такими тусклыми, что казались мертвыми, в них даже не отразился огонь зажегшейся совсем рядом сигареты. Он шепотом поблагодарил и хотел было уйти, но женщина внезапно положила ладонь на его руку, и он ощутил ее горячую сухость.

— Воды, — сказала она хрипло, — дай мне воды. Она там, — добавила женщина и указала сигаретой на какой-то сосуд, стоявший на

столе посреди комнаты. Сосуд оказался коричневым кофейником без крышки. Взяв его в руки, он почувствовал, что кофейник тяжелый. Теперь ее окурок уже валялся на полу, он потушил его подошвой и тихонько спросил:

— В чашку или...

— Вот сюда.

Он взял из ее рук стакан, поднес его к носу кофейника и наполнил до краев. Женщина вырвала у него стакан, и он почувствовал в ее быстром и резком движении что-то неприятное, а потом услышал в темноте жадные хлюпающие глотки.

— Еще, — сказала женщина.

Он опять наполнил стакан до краев. И она опять вырвала его, и Ганс опять услышал звук жадных, безудержно хлюпающих глотков, заметив, что кофейник в его руке стал намного легче. Тут ее голова вдруг завалилась набок и платок соскользнул, открыв толстую черную косу. Он взял стакан и налил себе самому; на вкус вода оказалась отвратительной: она была тепловатая и отдавала хлором. Услышав, что больная тихонько посапывает во сне, он медленно выбрался из комнаты.

Раздевалка внизу показалась ему чуть ли не теплой. Выкуренная сигарета вызвала сильное и довольно приятное головокружение, даже легкую тошноту, и он вновь уселся на знакомую скамью. Потушив окурок о стену, он вытянул ноги и заснул.

Но поспать ему удалось совсем недолго: доктор снаружи пнул ногой в дверь.

— Давай, приятель, двигай! — крикнул он. — Скоро утро.

Ганс вскочил и открыл дверь.

— Ручка куда-то делась, поэтому я не смог открыть. Ну, пошли, — сказал доктор. Он отпер дверь той комнаты, где лежал хлеб, зажег свечу и кивнул: — Давай заходи.

Ганс вошел.

— Бог мой! — воскликнул доктор. — У вас уже совсем роскошный вид. Где вы взяли этот плащ?

— Он висел в раздевалке, — ответил Ганс, — я верну его, как только... — Он вытащил из кармана скомканную бумажку. Это было письмо. Разгладив его, он прочел вслух: — «Регина Унгер, Мэркише штрассе, семнадцать...»

— Так-так, — пробормотал доктор.

— Я обязательно верну плащ... Это просто потому, что...

— Да ладно, чего уж там, взяли и взяли... Идите сюда!

Ганс быстро обошел вокруг стола, опрокинув при этом бидон. Поднял бидон и подошел к маленькому столику. Доктор вынул из кармана бумагу, положил ее рядом со свечой и сказал:

— Думается, это то, что вы ищете, то, что вам нужно. Документ настоящий.

Доктор усмехнулся, но лицо у него было красное и усталое, а глаза потухшие, и вокруг рта залегли морщины странного желтоватого цвета. Сквозь светлые редкие волосы, похожие на пушок недавно вылупившегося цыпленка, просвечивала красноватая кожа черепа.

Доктор устало проронил:

— Двадцать пять лет, не годен к службе в армии из-за тяжелой болезни легких. Теперь вас будут звать Эрих Келлер.

Ганс протянул было руку к серой сложенной пополам бумажке, но доктор прихлопнул ее широкой ладонью и, глядя ему в глаза, ухмыльнулся. Ганс спокойно сказал:

— Я принесу деньги.

— Сколько? — спросил доктор. Губы у него дергались, как только он открывал рот. Видимо, был поражен какой-то нерв.

— Сколько вы хотите?

— Две.

— Сотни?

— Скажете тоже — сотни! — иронически повторил доктор. — Да сейчас сигареты стоят десять.

— Значит, тысячи.

— Да. Когда?

— Может, завтра, а может, и послезавтра. Может, даже еще сегодня... Не знаю... Как только я...

Доктор вдруг вскочил, сдвинул вбок створку окна, так что грязная труба печки покачну-

лась. Сквозь зарешеченное подвальное окно посыпалась пыль, потом проглянуло темно-серое небо.

Доктор вновь обернулся к Гансу, взял лежавшую на столе бумагу и долгим взглядом уставился в лицо Ганса. Глаза его были усталыми и встревоженными, где-то в глубине их гнездились что-то вроде печали, некая тень сомнения.

— Вероятно, вы меня неправильно поняли. Я вовсе не торгош с черного рынка. И не торгую подпольно документами мертвецов. Поэтому мне нужно, чтобы вы вернули мне эту бумагу. Понимаете? Она не моя, ее место в архиве, и нас проверяют. Просто я хочу вам помочь и дам вам ее на время. Но мне нужно что-то в залог.

— У меня ничего нет.

— Вам дороги эти железки, что болтаются у вас на груди?

— Они не мои.

— А мундир?

— Он принадлежит тому же человеку, который умер, и я должен отдать его жене покойного. Может быть... — Ганс запнулся.

— В чем дело? — спросил доктор.

— Может быть, вы поверите мне на слово? Я достану себе другие документы. Самое большее — через несколько дней...

Доктор опять поглядел на него долгим взглядом, но теперь они оба услышали в мерт-

вой тишине этого города, где раньше было много церквей, далекий звон маленького колокола.

— Без четверти шесть, — заметил доктор. Потом вдруг сунул Гансу бумагу и сказал: — Ну, шагайте... И смотрите, не подведите меня.

— Нет-нет, — заторопился Ганс. — Большое спасибо. До свиданья.

II

Место, где раньше стоял его дом, он нашел сразу, — может, благодаря тому, что он помнил, сколько шагов было до него от перекрестка, или же ему бросилось в глаза особое расположение пней от высоких деревьев, некогда обрамлявших прекрасную аллею. Что-то заставило же его внезапно остановиться и посмотреть влево! Тут он и увидел это... Ганс сразу узнал остаток лестничной клетки и медленно пробрался туда по обломкам; он был дома. Входная дверь была высажена взрывом, часть ее еще висела на петлях — тяжелых шарнирах, частично вырванных с мясом из дверной коробки. Сохранилась и часть лестничного пролета. С потолка свешивались уцелевшие доски. Он двинулся по куче камней дальше и в конце вестибюля, у подножья очередной горы штукатурки очистил от мусора белую, совершенно целую мраморную ступеньку. Итак, одна ступенька сохранилась. Очевидно — первая и последняя. Гора мелких каменных осколков, возвышавшаяся над ней, рассыпалась, как только он к ней прикоснулся. Он медленно очистил от трухи всю ступеньку и уселся. Пахло песком

и сухим щебнем. Следов пожара нигде не было видно...

Некогда это здание было красивым доходным домом. В нижнем этаже даже жил привратник... Ганс посмотрел направо, где когда-то была дверь в привратническую, и увидел гору кирпичей, обрывки обоев и обломки мебели, в одном месте выглядывала наружу покрытая слоем пыли ножка рояля: там, очевидно, провалился потолок вестибюля. Он опять встал и принялся разгребать гору щебня, пока не почувствовал пальцами жесткие линкрустовые обои. Подождал, пока не просыпалась сверху всякая труха, и наконец откопал табличку, чистенькую белую эмалированную табличку с черными буквами: «ШЛЕППЛЕНЕР, привратник». Ганс молча кивнул, отступил немного назад и опять присел, потом вытащил из кармана портсигар, щелкнул крышкой и вынул сигарету. Но вдруг вспомнил, что огня-то у него и нет. Он медленно вернулся к входу и стал ждать. На улице никого, воздух тих и прохладен, где-то кукарекнул петух, а совсем издалека, оттуда, где должен был находиться мост через Рейн, слышался грохот тяжелых машин, вероятно танков...

Раньше это место в любое время дня и до поздней ночи кишело людьми. Теперь он заметил лишь крысу, появившуюся из соседних развалин. Она медленно и спокойно пробиралась по кучам щебня и, постоянно

принюхиваясь, направлялась к проезжей части. Один раз она соскользнула вниз по мраморной плите, перегородившей ей дорогу, пискнула, вскарабкалась наверх и медленно поползла дальше. Он потерял ее из виду, когда она пересекала ту часть улицы, где не было каменных куч, а потом услышал, как она шурует в опрокинувшемся вагоне трамвая, чье жестяное брюхо, разбухшее и лопнувшее, лежало между двумя рухнувшими столбами...

Он забыл, что все еще держал во рту сигарету и ждал, кто бы дал ему огонька...

В ту пору, когда его дом был цел и невредим, ему пришла по почте всего лишь одна простая открытка. Она пришла утром, когда он еще спал. То был первый день его каникул, и мать подумала: наверняка ничего важного. Почтальон вручил ей целую пачку всяких бумаг: газету, несколько проспектов, одно письмо, расчет пенсии, и за что-то одно из всей этой пачки мать расписалась в получении. В полумраке прихожей все равно почти ничего не было видно, на лестничной площадке тоже было темно, боковой свет проникал в прихожую лишь через большое зеленоватое стекло над дверью в комнату. Мать быстренько просмотрела всю пачку и, бросив почтовую открытку на столик в прихожей, направилась в

кухню: обычная открытка с печатным текстом показалась ей чем-то маловажным...

В то утро он спал допоздна, впервые в жизни, если это можно было назвать жизнью: до того дня была сплошная муштра — школа, бедность, ученичество в книжной лавке, разные мученья, но накануне он наконец-то сдал квалификационный экзамен на помощника продавца и взял отпуск...

По утрам уже к половине девятого становилось душно, на дворе был разгар лета, и мать прикрыла ставни, а войдя в кухню с почтой в руках, отвернула газовую горелку на полную мощность, чтобы поскорее вскипятить воду. Стол был уже накрыт, все дышало чистотой, покоем и миром. Она села на скамью и принялась просматривать почту. Со стороны двора до ее слуха доносился легкий перестук молотков и приглушенное жужжание пилы из столярной мастерской, расположенной в подвале пристройки. С улицы слышался ровный, даже успокаивающий шум проносящихся мимо машин...

Все рекламные проспекты прислал виноторговец, который иногда поставлял им вино, когда отец еще был жив. Мать не глядя швырнула их в большой ящик под плитой, в который она летом собирала бумажный мусор и щепки на зиму.

Просматривая расчет пенсии, она вдруг вспомнила об открытке, оставленной ею на

столике в прихожей, и у нее мелькнула мысль, что надо бы встать, взять эту открытку и тоже бросить в ящик с бумажным мусором: она терпеть не могла почтовых открыток с печатным текстом, — но так и не встала, а только вздохнула, потому что уже углубилась в цифры. Расчет показался ей чересчур сложным — до нее дошла только конечная сумма, напечатанная красными цифирками, и мать поняла, что пенсия ее опять уменьшилась...

Она поднялась, чтобы налить себе кофе, положила бумажку с цифрами рядом с толстой пачкой газет, налила кофе в чашку и ногтем большого пальца вскрыла письмо. Оно было от ее брата Эди. Эди писал, что после долгих, слишком долгих лет ассессорства он наконец получил звание штудиенрата. В остальном письмо содержало мало радостного. Повышение по службе стоило ему перевода в забытый Богом медвежий угол. Там ему уже все опротивело, глаза бы не смотрели на все это, писал он, и она, мол, знает почему. Она и впрямь знала. Кроме всего прочего, дети переболели подряд тремя болезнями — коклюшем, корью и ветрянкой. Элли совершенно выбилась из сил, а тут возня с переездом, волнения из-за перевода на новое место, который не принес заметного улучшения их семейному бюджету, поскольку его перевели из большого города в захолустье. Все ему здесь противно, и она знает почему. Она и впрямь знала.

Мать и это письмо отложила в сторону, помедлила немного и бросила расчет пенсии в тот же ящик с бумажным мусором, а письмо положила в ящик стола. Вновь мелькнула у нее в голове мысль об открытке, но она уже успела налить себе вторую чашку кофе, сделать бутерброд и взяться за газеты. Мать читала только заголовки. Она не испытывала такого интереса к войне и возмездию, как большинство людей, только и говоривших об этом. Вот уже сколько месяцев на первой странице больше ничего и не писали, как только о перестрелках, рукопашных схватках и беженцах, удиравших из области польского конфликта, дабы спастись на земле Германии...

На второй странице было написано, что норму отпуска масла следовало бы урезать, а яичный рацион оставить на прежнем уровне. Она ничего в этом не поняла, как не поняла и статью, которую быстренько проглядела, — в ней доказывалось, что нельзя продавать свою свободу за кофе и какао. Потом она отложила газету, допила чашку и собралась идти за покупками.

Сквозь щели в ставнях пробивался ослепительно яркий свет, солнце рисовало на стенах кухни полосатые узоры.

Заметив лежавшую на столике в прихожей маленькую белую почтовую открытку, мать опять подумала, что собиралась выбросить ее

в мусор, но в руке она уже держала хозяйственную сумку, а ключ уже торчал в замке, так что она стала спускаться по лестнице.

Когда мать вернулась, сын еще спал, и маленькая белая почтовая открытка все так же лежала на столике. Она поставила на него сумку и взяла этот клочок бумаги с печатными буквами. И тут вдруг, несмотря на темноту, заметила странное красное пятно на открытке: белая наклейка с красной прямоугольной каймой и в середине жирная черная буква «R»*, похожая на паука.

Ее охватил непонятный страх. Она выронила открытку, ей теперь все это представилось весьма странным, она не знала, что и открытки бывают заказными, такая открытка показалась ей в высшей степени подозрительной и испугала мать. Она быстро подхватила сумку и пошла в кухню. «Может быть, — подумала она, — это всего лишь уведомление из торговой палаты или какой-то другой организации о том, что он выдержал экзамен, что-нибудь такое важное, что нужно было послать заказным». Она не ощутила никакого любопытства, только тревогу. Поставив на стол миску, мать распахнула ставни, потому что сна-

* Первая буква французского слова *recommandé* (заказное). (*Здесь и далее примеч. переводчика.*)

ружи вдруг потемнело. И тут увидела, что на землю медленно упали первые капли дождя — крупные круглые тяжелые капли, словно жирные кляксы, усеяли асфальт. Столяры в синих фартуках толпились во дворе перед мастерской и торопливо закрывали брезентом большую оконную раму. Дождевые капли падали все гуще и все сильнее стучали по асфальту. Мать слышала, как мужчины засмеялись, прежде чем скрыться за пыльными стеклами мастерской в подвале...

Она сняла со стола скатерть, достала из ящичка кухонный нож, пододвинула поближе к себе миску и принялась дрожащими пальцами чистить цветную капусту. Большая жирная буква «R» в красном прямоугольнике внушала ей такой страх, что мало-помалу у нее начало мутиться перед глазами и все поплыло кругами, так что ей пришлось взять себя в руки.

Потом мать начала молиться. Она всегда молилась, когда на нее нападал страх. А в голове роились беспокойной чередой самые разные картины — сперва ее муж, умерший шесть лет назад: он стоял у окна с перекошенным лицом, когда по улице мимо их дома проходило первое грандиозное шествие.

Вспомнилось ей и рождение сына во время войны, этого крошечного, тощего мальчонки, который так и не успел окрепнуть...

Потом она услышала, что сын прошел в ванную. Но сосущая тоска в ее груди не унялась — этот клубок из боли и тревоги, страха и подозрительности вызывал желание заплакать, которое она все же постаралась подавить.

Когда сын вышел из ванной, мать уже накрывала стол в гостиной. Комната была убрана и сверкала чистотой, на столе стояли цветы, масло, сыр, колбаса, коричневый кофейник под желтым колпаком и банка молока, а на своей тарелке он увидел большую жестяную коробочку с сигаретами. Он поцеловал мать и, почувствовав, что она дрожит, взглянул на нее испуганно и удивленно, когда она вдруг ни с того ни с сего заплакала. Может, она плакала от радости. Все еще крепко держа его за руку, она тихонько пролепетала, не переставая плакать:

— Не сердись на меня, мне так хотелось тебе угодить.

Указав рукой на стол, она заплакала еще сильнее, плач перешел в безудержные рыдания, а он смотрел на ее круглое красивое лицо, залитое слезами, и не знал, что ему делать. Потом пробормотал, запинаясь:

— Боже мой, мама, ведь все прекрасно. Разве не так?

Она испытующе взглянула на него и попыталась улыбнуться.

— В самом деле все хорошо, — сказал он и пошел в спальню. Там он быстро надел свежую рубашку, застегнул кнопку на красноватом галстуке и заторопился обратно. Мать уже сидела за столом. Она сняла фартук, принесла из кухни свою чашку и глядела на него с улыбкой.

Он сел и заявил:

— Я замечательно выспался.

Она нашла, что он и впрямь выглядит свежее. Сняв колпак с кофейника, она налила в его чашку кофе и щедро плеснула туда молока из консервной банки.

— А ты не зачитался допоздна?

— Да нет, отнюдь, — улыбнулся он. — Вчера я так устал, даже слишком.

Он открыл сигаретницу, закурил, медленно помешал ложечкой кофе и взглянул в лицо матери.

— Мама, ведь все прекрасно, — сказал он опять.

Она откликнулась, не меняя выражения лица:

— Принесли почту.

Он заметил, что углы ее рта дрогнули. Мать прикусила нижнюю губу, так что не могла больше сказать ни слова, и из груди ее вырвались такие глухие рыдания без слез, что сын сразу понял: что-то стряслось или должно стрястись. Он уже не сомневался: это все наделала почта, что-то было связано с ней. Он

опустил глаза, помешал в чашке и несколько раз глубоко затянулся сигаретой, прихлебывая кофе. Надо было обождать, ведь она не хотела плакать, но ей необходимо было выговориться, поэтому не нужно ее торопить, надо дать ей время справиться с этими рвущимися из глубины вздохами. Потом она сможет говорить. Тревожило ее явно что-то связанное с почтой. Никогда в жизни не забыть ему этих вздохов, в которых было все, весь тот ужас, о котором тогда оба они ничего не знали. Эти сухие рыдания рвали сердце. Мать всхлипнула, она всхлипнула один-единственный раз, но очень глубоко и продолжительно, а он все так же сидел, опустив глаза, и видел только поверхность кофе в своей чашке, где молоко из банки уже образовало светло-коричневую тонкую пленку, видел кончик своей сигареты, видел, что серовато-серебристый пепел на этом кончике мелко дрожит, и наконец почувствовал, что может поднять глаза.

— Да, — тихонько произнесла она. — Дядя Эди прислал письмо. Он получил звание студийнрата, но его перевели в другой город. Он пишет, что там ему все противно.

— Что ж, понятно, — кивнул он. — Любому нормальному человеку было бы противно.

Она тоже кивнула.

— И принесли новый расчет пенсии, — добавила мать, — она опять уменьшилась.

Он положил ладонь на ее маленькую, широкую и натруженную руку, лежавшую на белоснежной скатерти. Это прикосновение вызвало новую череду глубоких, рвущих душу вздохов. Он снял руку, и в памяти его осталось воспоминание, что рука матери была теплая и шершавая. Он не поднимал глаз, пока не миновало время тяжких вздохов и сдерживаемых слез. Он ждал. И думал: «Нет, не в этом дело. Дядя Эди и пенсия не могут до такой степени выбить ее из колеи. Тут наверняка что-то другое», и внезапно его осенило: это другое касалось его лично. Он почувствовал, что бледнеет. Не было на свете ничего, что до такой степени выбило бы его мать из колеи. Он взглянул на нее. Мать сидела, плотно сжав губы, и глаза ее были полны слез, но теперь она выдавила из себя несколько слов, запинаясь и едва разжимая губы:

— Тебе принесли открытку, она лежит там, в прихожей...

Он тут же отодвинул чашку, встал и пошел в прихожую. Открытку он заметил уже издали, это была белая обычная почтовая открытка размером 15 на 10 сантиметров. И спокойно лежала себе на столике возле темной вазы с еловыми ветками. Он быстро подошел к столику, взял открытку, прочел адрес, увидел бело-красно-черную наклейку с красной прямоугольной каймой и очень жирную черную букву «R», потом перевернул открытку, погля-

дел сначала на подпись — она была неразборчива и написана поверх трех длинных слов: «Районная военная комендатура». Ниже было напечатано: «Майор».

В квартире по-прежнему стояла тишина и вообще ничего не изменилось. Только пришла почтовая открытка, обычная почтовая открытка, и единственное от руки написанное слово в ней был этот неразборчивый росчерк какого-то майора. В зеленоватом свете, лившемся из застекленной части двери в коридор, все казалось зыбким, как в аквариуме... Ваза все еще стояла на столике, его пальто висело на вешалке, там же висело пальто матери, рядом ее шляпа, воскресная же шляпа матери с нарядной белой вуалеткой лежала наверху — та самая шляпа, которая по воскресеньям всегда была на ней в церкви, когда она тихо молилась, стоя рядом с ним на коленях, в то время как он медленно перелистывал страницы молитвенника. Все на свете шло своим чередом, через открытую дверь кухни до него доносился смех столяров во дворе дома, небо вновь было ясным и чистым, гроза миновала... Вот только на его имя пришла почтовая открытка с размашистой подписью какого-то майора, который по воскресеньям, возможно, стоял на коленях недалеко от него в церкви, спал со своей женой, воспитывал своих детей так, чтобы они выросли добропорядочными немцами, а в рабочие дни ставил свою подпись под це-

лыми стопками почтовых открыток. Все было так обычно...

Он не заметил, сколько времени простоял в прихожей с открыткой в руке, но когда он вернулся в комнату, то увидел, что мать плачет. Она сидела, опершись локтем о стол и подперев ладонью вздрагивающую щеку, а другая ладонь неподвижно лежала у нее на коленях, словно чужая, — широкая и натруженная...

Он подошел к матери, приподнял ее склоненную голову и попытался заглянуть ей в лицо, но тут же отказался от этого намерения. Ее лицо было настолько искажено, что показалось ему чужим, неузнаваемым, каким он его еще никогда не видел, — лицо, которое его перепугало и в котором не было и не могло быть доверия к нему...

Он молча сел на свое место, отхлебнул немного кофе и взял сигарету. Но вдруг выронил ее и уставился невидящим взглядом прямо перед собой.

Потом из-за ладони, подпиравшей щеку, раздался голос:

— Ты бы поел...

— Не сердись на меня.

Он долил себе кофе, добавил молока и положил в чашку два кусочка сахара, потом закурил, вынул открытку из кармана и негромко прочел:

— «Вам надлежит явиться четвертого июля в семь часов утра на восьминедельные сборы в казарму Бисмарка в Аденбрюке». Ох ты, Боже мой! — громко сказал он. — Мама, сама подумай, ведь всего восемь недель.

Она кивнула.

— Это должно было случиться, ведь я же знал, что меня вызовут на сборы.

— Да-да, конечно, — выдохнула она. — Всего восемь недель.

Они оба знали, что лгут. И лгали, не понимая зачем. Они не могли этого не понимать, но лгали и знали, что лгут. Они знали, что он уйдет из дому не только на восемь недель.

Она опять повторила:

— Ты бы поел.

Он взял ломтик хлеба, намазал маслом, положил сверху кусочек колбасы и принялся жевать, очень медленно и без аппетита.

— Дай мне эту открытку, — сказала мать.

Он дал.

На ее лице появилось какое-то странное выражение, она казалась совершенно спокойной и, внимательно взглядевшись в открытку, тихонько прочла ее вслух.

— Какой сегодня день? — спросила мать, положив открытку на стол.

— Четверг, — ответил сын.

— Да нет, — сказала она. — Какое число?

— Третье, — ответил он.

Только тут он сообразил, что означал ее вопрос. Он означал, что ему придется уехать из дому сегодня же, чтобы к семи утра следующего дня оказаться в трехстах километрах к северу, в казарме чужого города...

Он отложил в сторону надкусанный ломтик хлеба, не было смысла делать вид, что ему в самом деле хочется есть. Мать вновь закрыла лицо ладонями и заплакала навзрыд, но как-то удивительно беззвучно...

Он прошел в свою комнату и стал собираться в дорогу. Кое-как скомкав, сунул в сумку рубашку, исподнее, носки, писчую бумагу, потом опорожнил ящики письменного стола и не глядя выбросил их содержимое в печку, вырвал листок из одной тетрадки и, сложив его несколько раз, зажег и поднес к куче других бумаг. Поначалу появился лишь густой беловатый дым, потом огонь мало-помалу пробился наружу и наконец с шипеньем взвился изпод конфорки узким и энергичным языком, окутанным черным облаком дыма. Еще раз перерывая все ящики и отделения письменного стола, он поймал себя на мысли: «Поскорее уйти отсюда, уйти от матери — единственного человека, о котором я мог бы сказать, что этот человек меня любит»...

Услышав, что она вернулась с подносом в кухню, он быстро пересек прихожую, коротко стукнул в матовое стекло кухонной двери и бросил:

— Я пошел на вокзал, скоро вернусь.

Она не сразу откликнулась, и он подождал за дверью, все время ощущая маленькую белую почтовую открытку в кармане брюк. Потом мать крикнула:

— Все в порядке, возвращайся поскорее! До свиданья...

— До свиданья, — ответил он, еще немного постоял молча и вышел...

Когда он вернулся, часы показывали половину первого и обед был готов. Мать внесла тарелки, приборы и блюда в гостиную...

Теперь этот первый мучительный день казался ему более тяжким, чем вся война. Еще шесть часов он пробыл дома. Мать все это время пыталась навязать ему вещи, которые, по ее разумению, ему обязательно понадобятся, в частности мягкие махровые полотенца, большие пакеты с едой, сигареты, мыло. И все время плакала. А он непрерывно курил и приводил в порядок книжные полки. Опять накрывался стол, в гостиную вносились хлеб, масло, повидло и печенье, опять варился кофе.

После кофе, когда солнце уже зашло за дом и перед окнами начали сгущаться приятные сумерки, он вдруг скрылся в своей комнате, сунул под мышку сумку с вещами и вышел в прихожую...

— Что случилось? — спросила мать. — Ты уже...

— Да, — выдавил он, — мне пора. — Хотя его поезд отправлялся только через пять часов.

Он поставил сумку на пол и обнял мать с какой-то отчаянной нежностью. Когда она обвила руками его бедра, то нащупала в кармане ту открытку и вынула ее. И сразу успокоилась, даже вздыхать перестала. Почтовая открытка в ее руке казалась совершенно безобидной, да и человеческим в ней был только размашистый росчерк майора, хотя ведь и он вполне мог быть исполнен машиной, специальной машиной, умеющей расписываться за майора... Опасным в ней была только прямоугольная белая наклейка с красной каймой и большой черной буквой «R» — крошечный кусочек бумаги, какие ежедневно тысячами приклеивают в любом почтовом отделении. Но под этой буквой он заметил теперь какой-то номер. Это был его номер — единственное, что отличало его открытку от других, — номер 846. И теперь он понял, что все в порядке, что ничего не может с ним случиться, потому что в каком-то почтовом отделении этот номер стоял рядом с его фамилией. Это был его номер, и он не мог от него убежать, он был вынужден следовать за этим жирным «R», не мог от него скрыться...

Теперь он стал всего лишь регистрационным номером 846, и эта маленькая белая

почтовая открытка, этот ничтожный кусок дешевого тонкого картона — тысяча штук таких открыток стоила максимум три марки и доставлялась адресату бесплатно, — рождена была лишь росчерком какого-то майора, и жестом военного писаря, выхватившего именно его карточку из картотеки, и еще одной подписью — закорючкой кого-то из почтовых служащих в книге заказных отправок...

Когда он уходил, мать выглядела совершенно спокойной, она сунула открытку ему в карман, поцеловала его и тихонько промолвила:

— Храни тебя Бог...

Он ушел. Его поезд отправлялся только в полночь, а было ровно семь часов. Он знал, что мать провожает его взглядом, и, идя к трамваю, несколько раз оборачивался, чтобы помахать ей рукой.

За пять часов до отъезда он уже был на вокзале. Покрутился возле касс, еще раз изучил расписание поездов. Все было как всегда, люди возвращались из отпусков или ехали в отпуск, многие чему-то смеялись — веселые, загорелые, радостные и беззаботные, воздух был теплый и приятный — настоящая отпускная погода...

Он выбежал из здания вокзала, вскочил в трамвай, который мог довезти его до дома, на

одной из остановок выскочил из вагона и поехал обратно, на вокзал. По вокзальным часам он понял, что прошло всего двадцать минут. Он опять потолкался среди людей, дымя сигаретой, потом опять вскочил в первый попавшийся трамвай, не поглядев на номер, опять сошел с него и вернулся — Ганс словно предчувствовал, что восемь лет будет мотаться по вокзалам, его словно магнитом притягивал вокзал...

Он пошел в зал ожидания, выпил пива, вытер пот со лба. И вдруг ему вспомнилась молоденькая сослуживица, которую он несколько раз провожал до дома. Найдя в записной книжке ее телефон, он кинулся к автомату, бросил в щель монетку и набрал ее номер. Но когда на другом конце провода отозвался чей-то голос, он не смог выдать ни звука и повесил трубку. Потом опять бросил монетку и опять набрал номер. Тот же незнакомый голос опять сказал «Алло!» и назвал какое-то имя. Тогда он собрался с духом и пробормотал:

— Можно попросить к телефону фройляйн Вегман? Говорит Шницлер...

— Минуточку, — ответил голос. И в трубке послышались плач младенца, потом танцевальная музыка и раздраженный мужской возглас, потом кто-то хлопнул дверью. Лоб его покрылся испариной, но тут он услышал ее голос:

— Да?

Он промямлил:

— Это я... Ганс. Мне хотелось бы увидеться с вами, я уезжаю. В армию. Сегодня...

Он почувствовал, что она очень удивилась. Но сказала:

— Да... Но когда и где?

— На вокзале, — быстро ответил он, — сейчас. Возле контроля...

Она пришла очень быстро — изящная маленькая блондинка с пухлыми, очень яркими губами и милым носиком. Вместо приветствия она сказала с улыбкой:

— Вот это сюрпиз так сюрпиз!

— Куда хотите пойти?

— Сколько у нас времени?

— До двенадцати.

— Пошли в кино, — решила она.

Они отправились в привокзальный кино-театр — тесный и грязный, вход в какой-то подворотне, а когда уже сидели рядышком и в зале погас свет, он вдруг понял, что ему предлагается взять ее руку в свою и держать, пока идет фильм. В зале было жарко и душно, зрителей почти не было, и ему как-то не понравилось, что она запросто, как само собой разумеющееся, позволила ему взять ее руку, но тем не менее все два часа он крепко, чуть ли не судорожно сжимал ее ладонь. Когда они вышли из зала, уже стемнело и накрапывал дождь...

Когда они свернули с улицы в парк, он правой рукой вцепился в свою сумку, а левой прижал к себе девушку. Она и тут не противилась, и он ощутил тепло и аромат ее изящной фигурки, вдохнул запах ее влажных от дождя волос и поцеловал ее в шейку и щеки, а дотронувшись губами до ее мягкого рта, перепугался не на шутку...

Она крепко и в то же время робко обняла его. Сумка выскользнула у него из-под мышки, и он, целуя девушку, внезапно понял, что старается разглядеть кусты и деревья, растущие вдоль аллеи: он ясно видел серебристую, мокрую от дождя дорожку, истекающие влагой кусты, черные стволы деревьев и небо, по которому неслись на восток тяжелые тучи...

Они несколько раз, целуясь, прошлись взад-вперед по дорожкам, и были минуты, когда он ощущал к ней нежность и нечто похожее на жалость, а может, и любовь, этого он не понимал. Он все оттягивал их возвращение на освещенные улицы, пока вокруг вокзала не стало так пусто, что он решил — видимо, пора...

Он предъявил на контроле свою открытку, дал прокомпостировать ее перронный билет и обрадовался, увидев, что поезд уже стоит под парами в огромном и пустом пространстве крытого перрона. Поцеловав девушку еще раз, он поднялся по ступенькам в вагон. Высовываясь из окна, чтобы помахать на прощанье,

он боялся, что она заплачет, но она только улыбалась, долго и энергично махая рукой, и он облегченно вздохнул, поняв, что она не станет плакать...

Около шести утра он приехал в незнакомый город. Перед дверями домов стояли машины, развозившие молоко, а мальчишки из пекарни бегом разносили и ставили на ступеньках перед дверями пакеты с булочками — он видел вблизи этих парнишек с лицами, перепачканными мукой, это были бледные и все же веселые призраки раннего утра. Из какого-то бара вывалились шатающиеся фигуры — несколько штатских и один солдат. Гансу не хотелось спрашивать дорогу, и он просто пошел за солдатом. Он остановился, как и солдат, у остановки трамвая и смешался с толпой молчаливых рабочих, равнодушно оглядевших его с головы до ног...

Его мутило. Ночью он где-то выпил чашку остывшего бульона и съел черствую булочку и теперь чувствовал себя усталым и грязным, а когда трамвай подошел, он опять последовал за солдатом и встал рядом с ним на площадке. Только тут он разглядел, что солдат на самом деле был унтер-офицером или фельдфебелем. Лицо у него было красное, одутловатое и тупое. Из-под жесткой пилотки выбивался густой светлый чуб. На остановках в вагон входили солдаты и отдавали ему честь...

Улицы мало-помалу начали оживать, появились машины и велосипеды, площадка трамвая заполнилась рабочими, посасывающими трубки и молча ожидавшими своей остановки. Проезжую часть переходили школьники с тяжелыми ранцами на худеньких плечах, а трамвай все трясся и трясся по аллеям и улицам и постепенно пустел, пока в нем не остались одни солдаты...

Наконец они доехали до конечной остановки, расположенной между сжатыми полями пшеницы и большим огородным хозяйством. Все вышли из вагона, и Ганс опять медленно пошел за фельдфебелем, в то время как другие солдаты припустили бегом.

Они шли вдоль бесконечно длинного забора, окружавшего серое здание правильной формы. Внутри здания раздавались свистки и команды, а в окнах виднелись серые безрадостные лица. Потом между плотными рядами строений появился просвет с черно-бело-красным шлагбаумом, который поднялся перед унтер-офицером (а может, фельдфебелем). Часовой улыбнулся, потом посерьезнел и презрительно скривил губы. Но в конце концов и перед Гансом тоже поднялся черно-бело-красный шлагбаум, и он стал солдатом...

В этой жуткой тишине Ганс внезапно услышал шаги. Он насторожился и вынул изо рта сигарету: она стала желтоватой и влажной с одно-

го конца. Теперь он держал ее в руке и прислушивался к шагам. Они приближались к нему сзади и справа, звук их то вдруг затихал, и тогда катились камни, то опять слышалась твердая и равномерная поступь. Наконец у перекрестка справа появился человек: это был рабочий в кепке и с сумкой, зажатой под мышкой. Он спокойно шагал по направлению к перевернутому вагону трамвая. Гансу показалось невероятным, чуть ли не отвратительным, что здесь еще встречались люди, которые регулярно и точно по часам ходят на работу с сумкой под мышкой...

Он вскарабкался наверх к решетчатой ограде палисадника и остановился в ожидании. Рабочий заметил его и остановился, потом медленно подошел поближе. Ганс сделал несколько шагов ему навстречу и тихо произнес:

— Доброе утро...

— Доброе утро, — осторожно откликнулся тот, потом перевел взгляд на сигарету и спросил: — Огонька?

— Да, — ответил Ганс...

Рабочий неторопливо порылся в кармане брюк. Ганс увидел, что волосы у него с сильной проседью, брови кустистые и почти совсем седые и широкий добродушный нос. Потом перед его лицом щелкнула зажигалка, и коптящий огонек опалил кончик сигареты...

— Спасибо, — сказал Ганс, вынул портсигар, открыл его и протянул рабочему. Тот по-

глядел на Ганса удивленно и нерешительно. —
Прошу вас, — сказал Ганс, — берите же...

Он следил глазами, как два загрубевших
пальца рабочего робко потянулись и вытащи-
ли из ряда одну сигарету...

Рабочий сунул сигарету за ухо, тихо побла-
годарил и ушел...

Ганс продолжал курить, стоя у решетки па-
лисадника. Прислонившись к ней, он ждал —
сам не зная чего. Долго он смотрел вслед ра-
бочему, а тот все удалялся, то исчезая из виду
за кучами щебня, то вновь появляясь. Нако-
нец он совсем исчез вдали — в аллее, которую
обрамляли деревья, еще не успевшие постра-
дать от войны. Они поблескивали сочной зе-
ленью: ведь на дворе был май...

III

Он двинулся дальше, и долгое время навстречу ему никто не попадался. По многим улицам было невозможно пройти. Битый кирпич и щебенка громоздились до вторых этажей начисто выгоревших фасадов, а из некоторых боковых улиц еще тянулись длинные плотные полосы стелющегося дыма.

На то, чтобы добраться от окружной железной дороги до Рубенштрассе, у него ушел почти час, а раньше он проходил это расстояние за десять минут. Между остатками стен высились печные трубы, горы мусора окутывались тяжелыми облаками дыма, изредка навстречу ему попадались либо мужчина в обносках, либо женщина в кое-как повязанном платке.

На самой Рубенштрассе, по всей видимости, вообще не осталось ни одного дома. Огромное здание плавательного бассейна в начале улицы полностью рухнуло, между обломками тут и там валялись блестящие зеленые кафельные плитки облицовки. Здесь, где раньше сходилось несколько больших улиц, и людей попадалось уже побольше. Все они двигались

медленно, и вид у них был неряшливый и мрачный...

Из-за фасада одного начисто выгоревшего дома он услышал рокот тяжелых машин, двигавшихся, по-видимому, в сторону Рейна...

Он осторожно вскарабкался по кучам щебня и оказался на Рубенштрассе. Из какого-то окна — все они были заколочены досками — доносился плач младенца и женский голос, очень тихий и жалобный.

От дома № 8 целыми остались только вход в вестибюль и несколько комнат в нижнем этаже. Вход был чересчур широк и глубок, фронтон прогнулся, и стропила крыши тупо упирались в серое небо. Он уже хотел войти, но тут из дома вышла старуха в зеленом платке. Лицо у нее было желтое и дряблое, пряди нечесаных черных волос падали на лоб. Она несла в руке совок с собачьим пометом и, сделав несколько шагов, усталым движением выбросила его в ближайшую кучу обломков и повернула обратно.

Он спросил:

— Здесь живет фрау Комперц, я не ошибся?

Она молча кивнула.

Но он продолжил расспросы, хотя лицо ее выражало полную безучастность.

— Не знаете ли, фрау Комперц сейчас дома?

Старуха опять молча кивнула. На миг ее воспаленные глаза прикрылись опухшими ве-

ками, и целую секунду лицо казалось совсем мертвым...

— Пойдемте, — едва слышно выдавила она.

Он последовал за ней в вестибюль. Там царил такой мрак, что, когда она вдруг остановилась, он чуть не налетел на нее и увидел ее увядшее лицо совсем близко. От нее пахло кухней и грязной посудой, а зрачки двигались с такой ужасающей медлительностью, словно их приходилось с большим трудом проворачивать изнутри. Она взглянула на него и сказала спокойно:

— Я хочу вас предупредить, она больна... — Голос у старухи был тихий и хриплый.

— Я знаю, — откликнулся он.

У нее вдруг отвисла нижняя губа, она опять отвернулась и пошла в глубь дома, и каждый раз, когда она оборачивалась, он видел, что нижняя губа у нее по-прежнему висит, придавая лицу отвратительно циничное выражение.

Они вошли в довольно просторную прихожую, и Ганс, благодаря голубоватому окошку верхнего света, заглянул в черную, выгоревшую дотла пустоту за внешней оболочкой дома. Здесь, на первом этаже, повсюду стояла запыленная мебель, одежда громоздилась холмиками на ящиках, чемоданах и столах, а в одном углу стоял открытый рояль, похожий на чудовище с множеством искусственных зубов. Старуха положила совок на стол, еще раз по-

глядела на Ганса; потом прильнула ухом к замочной скважине какой-то двери и лишь после этого громко крикнула:

— Фрау Комперц!

Немедленно откликнулся весьма холодный голос:

— Да?

— Тут вас спрашивает какой-то мужчина.

— Минуточку.

Старуха опять взглянула на Ганса.

— Она все время лежит, — прошептала она.

И тут голос из-за двери крикнул:

— Можно войти!

Старуха открыла ему дверь, и он вошел.

Комната была большая, с высоким потолком и имела вполне опрятный вид. Паркетный пол был даже отциклеван, желтые гладкие дощечки весело блестели. Над большой черной кроватью в углу Ганс увидел статую Девы Марии на деревянном постаменте с маленькой красной лампадой впереди. Кроме кровати в комнате стояли только стул и ночной столик, и Ганс заметил, что трещины на потолке были обиты полосами толстой белой бумаги. На стенах висели темные живописные полотна, и Ганс сразу подумал, что они, должно быть, подлинные и очень ценные. Он остановился на пороге, все это показалось ему слишком парадным, слишком покойным и красивым...

Чистый голос тихонько произнес:

— Проходите, пожалуйста, и присядьте.

На лежавшей в кровати женщине была темная, доверху застегнутая кофта, а лицо представлялось ему все более бледным по мере того, как он приближался к ней. Волосы у женщины были очень светлые, почти бесцветные, они казались неприбранными, очень редкими и напомнили ему парички бледных кукол. Он медленно подошел к ней поближе. Она повторила:

— Да присядьте же, наконец.

На мраморной столешнице ночного столика стояло маленькое черное распятие в грубой деревянной оправе.

Ганс сел. Не в силах вымолвить ни слова, он вдруг лихорадочно расстегнул плащ и указал пальцем на китель, который был на нем, на фельдфебельские петлицы, на ордена на груди и ромбики на погонах. Все это было новехоньким, петлицы еще блестели, и пуговицы сверкали, на них не виднелось ни единой царапинки.

Она только кивнула, ее лицо оставалось спокойным и матово поблескивало в ореоле светлых волос.

— Ладно-ладно, — сказала она. — Ведь я знала... Но как... Скажите мне, как...

Он встал, скинул плащ, потом снял китель, вынул записку из кармана и протянул ее женщине вместе с кителем. Но и теперь выражение ее лица не изменилось. Он отвернулся и

стал смотреть на большое, завешенное шальями окно. Солнце все-таки пробилось сквозь них, усеяв подоконник солнечными зайчиками, ткань окрасилась красным цветом и будто впитала его в себя, словно цвет был жидкостью, которая, постепенно сгущаясь, проникла в каждую ниточку ткани. Тут Ганс убедился, что картины на стенах и впрямь были необычайно ценные: казалось, они были написаны светом — спокойные лица патрициев прямо-таки светились над бархатными воротниками их одеяний.

Ганс медленно повернулся к женщине и очень удивился: тщательно прощупав швы на полах кителя, она улыбнулась, взяла ножик из ящика ночного столика и принялась отпарывать подкладку.

Руки ее были так же спокойны, как и лицо, она распоролла несколько стежков, после чего уверенным движением оторвала всю подпушку, осторожно погрузила левую руку в темную пустоту, вытащила на свет Божий сложенный вчетверо лист бумаги и тихо произнесла:

— Читайте...

Он развернул лист и прочел:

— «Оберурзель, 6 мая 1945 года. Я, нижеподписавшийся фельдфебель Вилли Комперц, завещаю все принадлежащее мне движимое и недвижимое имущество моей жене Элизабет Комперц, урожд. Кройц».

Ниже было написано очень четко: «Вилли Комперц, фельдфебель». Потом какая-то неразборчивая подпись, круглая печать с номером полевой почты и ясно читаемое слово «подполковник»...

Он молча вернул женщине бумагу.

— В чем дело? — забеспокоилась она. — Вы на что-то обиделись?

Он ничего не ответил и вновь отвернулся к окну. Пылающая жидкость разгорелась пуще прежнего, казалось, она стала еще гуще, еще ярче и еще прекраснее...

— Так в чем же дело? — опять спросила женщина. Выглядела она очень спокойной и серьезной, поэтому он бросил ей прямо в лицо:

— Он украл у меня мою смерть, ваш муж украл у меня мою смерть. Сдается, я знаю, в чем тут дело. Такую быструю и опрятную смерть он не позволил мне сохранить за собой, он избрал ее для себя, а значит, был вынужден ее украсть. К тому же смерть эта была еще и геройская, настоящая геройская смерть на поле боя. А мне такая смерть не к лицу, я знаю. Я должен был жить, я даже хотел жить. А он хотел подарить мне жизнь. И теперь я понимаю, что жизнь можно кому-то подарить, украв его смерть.

Она откинулась на подушки и прислонилась головой к спинке кровати, на темном фоне которой ее лицо выглядело еще бледнее.

Ганс продолжал:

— Меня собирались расстрелять за дезертирство. Им удалось меня схватить. Американцы были уже совсем близко. А ваш муж служил писарем в военно-полевом суде, так? — Она кивнула. — Им надо было покончить со мной как можно быстрее, потому что американцы были рядом, уже слышны были звуки ближнего боя... Ваш муж вечером вошел в тот сарай, где я ожидал расстрела. Он принес с собой карманный фонарик, осветил сваленное там сено, нащупал лучом мое лицо и сказал: «Вставай». Я встал. Лица его я не видел, оно оставалось во мраке. Он спросил: «Ты ведь не хочешь умереть?» — «Не хочу», — ответил я. «Вот и вали отсюда», — заявил он. «Ладно», — сказал я и хотел пройти мимо него. «Минуточку, — остановил он меня. — Надень мой мундир». Лица его я все еще не видел. Он положил фонарик на сено, его луч упал на пыльный потолок сарая, и в отраженном свете я увидел наконец его лицо: оно было безучастным. Итак, он снял с себя мундир, взял мой и сказал: «А теперь иди». И я ушел. Спрятался в соседнем дворе, потом услышал, что звуки боя раздались совсем рядом, увидел, как мои палачи начали поспешно грузиться в машины, и один голос, голос судьи, все выкрикивал: «Комперц, где Комперц?» Кричал он тщетно, и уже перед самым отъездом они вытащили его из сарая и расстреляли. Залп

был едва слышен. Потому что минометы били уже по самой деревне и снаряды танковых пушек разрывались над крышами... — Ганс недолго замолк. — Я пробыл в деревне лишь несколько минут, кроме меня, никого не было, только куча навоза и мертвое тело, лежавшее перед сараем в тридцати шагах от меня. Уже смеркалось. Он заключил выгодную сделку... — Ганс опять умолк, взглянул на бравые бледные лица над бархатными воротниками и тихо добавил, вставая: — В его семействе много веков заключали только выгодные сделки, я знаю...

Он не договорил.

— Бог мой, — едва слышно вымолвила женщина, и Гансу впервые показалось, что она вовсе не безучастна. — Бог мой, но ведь он же вас спросил, хотите ли вы жить...

— Вот-вот, — оборвал он ее, — я знаю, он меня спросил. Такие всегда спрашивают, они никогда не бывают не правы...

Она спокойно возразила:

— Теперь ничего не изменишь, вам придется жить, и когда-нибудь вы будете радоваться жизни, Бог вам поможет. Благодарю вас за мундир. Вы быстро нашли записку с адресом?

— Я нашел ее, когда искал в карманах сигареты.

Она улыбнулась.

— И что же, нашли?

— Нашел, — ответил Ганс. — Две штуки...

И вдруг полез в карман плаща, щелкнул крышкой портсигара, вынул две сигареты и швырнул их на ее постель.

— Получите, — холодно сказал он. Женщина испуганно уставилась на него. — А то вы еще скажете, что хорошо заплатили мне за то, что я выполнил поручение, стоившее мне смерти.

Ганс повернулся к двери и направился к выходу. Он успел услышать, как она крикнула ему вслед, и в голосе ее звучали слезы:

— Но вам может пригодиться этот мундир... Как вас зовут, скажите, ради Бога, — как же вас зовут...

В дверях он остановился и еще раз взглянул на женщину: она в самом деле плакала.

— Ради Бога, дайте мне возможность что-нибудь для вас сделать. Как вас зовут?

— Не знаю, — спокойно ответил он. — Я в самом деле не знаю, как меня теперь зовут. До последнего времени моя фамилия была Хунгрец, а как теперь — не знаю, записка с новой фамилией где-то в кармане. До свидания.

Он ушел, не обернувшись...

В вестибюле ему опять встретилась та же старуха. Теперь она несла в подоле фартука картофельные очистки.

— Его уже нет в живых? — спросила она, понизив голос до шепота.

Ганс кивнул.

— Так я и думала, — спокойно заметила она. — Он погиб под самый конец?

— Его расстреляли...

— О Боже! — воскликнула она. — Когда его отец узнает... А кто расстрелял — немцы?

— Немцы...

— Сами немцы и расстреляли, Господи помилуй... — Она пошла через вестибюль и по длинному темному коридору, все время покачивая головой. — Боже мой, — опять заговорила она, когда они вышли на улицу. — Почему же немцы-то его расстреляли, может, сболтнул чего-нибудь про победу и все такое?

— Да нет, произошла ошибка, его расстреляли по ошибке.

Старуха молча направилась к ближайшей куче обломков и высыпала на нее картофельные очистки, а когда Ганс на ходу обернулся, она все еще стояла и смотрела ему вслед.

IV

Позже он вспомнил, что теперь его зовут Келлер, Эрих Келлер. Мотаясь по городу, он старался запомнить это имя, подолгу и настойчиво бормотал его себе под нос: Эрих Келлер... И в то же время его не отпускала мысль, как бы ему раздобыть две тысячи марок, чтобы окончательно расплатиться за это имя и жить с ним до тех пор, пока не сможет вернуть свое собственное. На самом деле его звали Шницлер, Ганс Шницлер, та почтовая открытка была адресована Гансу Шницлеру. Но перед тем, как его приговорили к расстрелу, он носил имя Хунгрец, и расстрелять собирались унтер-офицера Хунгреца. А незадолго до этого он несколько месяцев назывался Вильке, Герман Вильке, обер-ефрейтор. Примерно три четверти года он таскал с собой крошечную мастерскую по производству документов, удостоверяющих личность: печать и пачку бланков на всякие случаи жизни, а также продовольственные талоны — в любом количестве и имена — в большом ассортименте. С этой мастерской он мог бы снабдить фальшивыми документами полроты солдат — не существующую в реальности ча-

стную армию, сражающуюся за несуществующие цели и тем не менее абсолютно законную, потому что печать была у него подлинная. До того как стать Вильке, он разъезжал повсюду под именем Вальдов, а еще раньше — Шнорр. Он присваивал себе любые имена, какие приходили ему в голову, когда он заполнял бланки; он создавал людей, которых не было и не могло быть в действительности, но которые тем не менее обретали некое призрачное существование после прижатия печати к бумаге: отпечаток круглой резиновой штуковины на кусочке бумаги в зеленую полосу придавал этим существам законность. И эти варианты его самого, никогда не существовавшие в действительности, продолжали жить в различных перечнях и бухгалтерских книгах, в ночлежных бараках и карточных бюро, в полевых кухнях, где раздавали дармовой суп, и в привокзальных кинотеатрах. Даже носки и пистолет он получил где-то по документам на то имя, которое теперь начисто позабыл, — один из вариантов, созданных с помощью инструмента настолько ничтожного, что над ним даже смеяться было нельзя: просто кусочек приклеенной на деревяшку резины с вырезанными на ней рельефными числами, означавшими номер части и обрамлявшими государственный герб, то есть орла, державшего в лапах крошечную свастику. Только и всего, велика ли премуд-

рость... Ну, еще и клочок бумаги, завершавший эту аферу. У него было много имен за это время, закончившееся только три дня назад и казавшееся ему теперь бесконечно далеким. Он их всех уже и не помнил. Расстрелять его собирались под именем Хунгрец, это ему опять пришлось на память, когда он бродил по городу и старался запомнить свое теперешнее имя: Келлер, Эрих Келлер. Это имя стоило очень дорого: две тысячи марок...

Позже он попал на улицу, где еще встречались неразрушенные дома с жителями. Между двумя мокрыми кучами золы, из-под которых на разбитый асфальт текла желтоватая жидкость, стояла женщина — грязные светлые волосы и серое лицо с потухшими глазами.

— Хлеб! — крикнула она ему. — Хлеб!

«Хлеб», — подумал он и остановился. Поглядел на нее.

— Хлеб! — опять крикнула женщина. — Та-лоны на хлеб.

Он принялся шарить по карманам в поисках денег, нашел всего шесть марок. И протянул эти грязные бумажки женщине.

— Хлеба, — сказал он. Но она покачала головой.

— Двадцать марок два фунта, — сказала она.

Он попытался подсчитать, глядя на нее, но у него ничего не получилось.

— На пять марок, — сказал он. — Полфунта.

Она вынула руку из кармана пальто и начала перебирать комочек грязных красноватых талонов. Он дал ей пять марок и пристально посмотрел на бумажки с напечатанными на них буквами, лежавшие на его ладони.

— Разве на это что-нибудь дают? — едва слышно сказал он. Она возмущенно вытаращила глаза и заморгала часто-часто, как заводная кукла.

— Ясное дело, дают, — возразила она. — Ведь уже мир, ты что, не знаешь?

— Мир... — протянул он. — Это с каких же пор?

— С сегодняшнего утра, — заверила она. — С сегодняшнего утра у нас мир... Война кончилась...

— Да знаю я, она уже давно кончилась. Но чтобы мир?

— Мы капитулировали, ты что, не веришь?

— Нет...

Она подозвала одноногого инвалида, который сидел неподалеку на обломке стены, держа в руке распечатанную пачку сигарет. Тот приковылял к ним.

— Вот он не верит, что наступил мир! — крикнула она. — Да откуда ты взялся?

Он промолчал.

— Все верно, война кончилась, совсем кончилась. Ты что, не знал?

— Не знал, — ответил Ганс. — А где можно купить хлеб по этим талонам? Они настоящие?

— Да, — ответил инвалид. — Они настоящие. Мы не мошенники какие-нибудь. Здесь за углом лавка булочника. Сигарет хочешь?

— Да нет, они наверняка чересчур дороги.

— Шесть марок...

Ганс и вправду получил хлеб на талоны в булочной за углом, хлеб добросовестно взвесили, получилось пять ломтиков, а поскольку последний ломтик, брошенный женой булочника на весы, был толстоват, так что весы показали двести семьдесят граммов, то булочница отрезала от него уголок и положила его в особую корзину...

Ганс отпраздновал наступление мира, сидя на помойном ведре, вдумчиво и торжественно жуя хлеб и пересчитывая сдачу, полученную у булочницы.

Он не знал, что хлеб стал так дорог. Сунув руку в карман плаща, чтобы достать портсигар, он нащупал скомканный конверт. А вытащив его, еще раз прочел: «Регина Унгер, Мэр-кише штрассе, 17»...

Развалины, мимо которых ему пришлось идти теперь, выглядели иначе: холмы, поросшие густой травой и разноцветными сорняками до колен, над которыми едва возвышались низенькие деревца, — невысокие холмы с поло-

гими склонами, в которые улицы вгрызались, словно овраги, — мирные загородные овраги, окаймленные грубыми деревянными столбами, на которых висели трамвайные провода, а по дну оврагов тянулись до блеска отполированные трамвайные рельсы. Ганс долго шел по такому оврагу, пока не увидел человека, сидевшего на камне и, видимо, ждавшего чего-то под желтоватой картонной табличкой с большой зеленой буквой «Н»*.

Человек устало взглянул на Ганса и инстинктивно загородил рукой изрядно потрепанный мешок, сквозь дыры которого выглядывали картофелины.

— Здесь трамвайная остановка? — спросил Ганс.

— Да, — процедил тот и повернулся к нему спиной. Ганс опустился на бордюрный камень и увидел вдали за этими зелеными холмами силуэты сожженных домов и уродливые остатки разрушенных церквей. Вдруг его взгляд упал на странное огромное металлическое кольцо, высовывавшееся из какого-то холма и, по-видимому, сохранившее прежнюю форму: сам металл почернел от пожара, но внутри кольца Ганс заметил и сразу узнал странную, но хорошо сохранившуюся стили-

* Начальная буква немецкого слова Haltestelle — остановка.

зованную птицу — огненно-красного петуха, некогда озарявшего ночь. То была световая реклама какого-то бара — в центре огромного кольца сидел на острие иглы и, ежеминутно грозя перевернуться, раскачивался ярко-красный петух, выделяясь уже одним своим цветом среди желтых, голубых и зеленых реклам. Ганс оглянулся на человека, сидевшего рядом со своим мешком картофеля, и спросил:

— Значит, это и есть Гросе штрассе?

— Да, — буркнул тот, не переменив позы.

Мало-помалу на остановке начали собираться люди. Они появлялись непонятно откуда, — казалось, они вырастали прямо из холмов. Невидимо и неслышно из этой пустоты воскресали призраки, чьи пути и цели оставались недоступными его пониманию. То были существа, нагруженные мешками и свертками, коробками и ящиками, чьей единственной надеждой, очевидно, была желтая картонная табличка с большой зеленой буквой «Н». Они беззвучно выныривали откуда-то и молча встраивались в плотную толпу, ожившую лишь при позвякивании и скрежете колес приближавшегося трамвая...

На женщине, появившейся в дверном проеме, был длинный черный халат с поднятым воротником, и ее хорошенькая головка покоилась между углами воротника словно драгоценный плод в темной вазе. Волосы у нее были очень светлые, почти белые, лицо круглое и бледное, и Ганс сразу обратил внимание на ее удивительно темные, почти треугольные глаза...

— Что? Что вы сказали? — спросила она.

Ганс повторил так же тихо:

— Я возвращаю вам ваш плащ, фрау Унгер. Я им воспользовался.

— Плащ? — недоверчиво переспросила она. — Какой еще плащ?

— Он висел в рентгеновском кабинете, там, в больнице, в подвале. Было холодно, и я...

Женщина подошла к нему поближе, и он увидел, что она улыбается. Вблизи она показалась ему еще бледнее.

— Входите же, — тихо произнесла она, и он вошел в неубранную комнату с затхлым запахом и закрыл за собой дверь...

Ганс растерянно помялся на пороге и огляделся: в комнате никого не было. Кровать в углу за дверью была не застелена, а под халатом

женщины, которая опиралась на что-то стоявшее за ее спиной, он заметил желтые пижамные штаны. Очевидно, постучав в дверь, он поднял ее с постели...

Ганс медленно стащил с себя плащ, вынул из кармана портсигар, протянул ей то и другое и пробормотал:

— В нем еще были сигареты, простите... Я их выкурил.

Она только молча кивнула, и он внезапно понял, что она его не слушает и вообще не видит, хотя глаза ее смотрели прямо ему в лицо. Позади ее голых худых лодыжек он теперь ясно разглядел четыре грубые деревянные ножки, соединенные поперечными планками, — нижнюю часть колыбели или детской кроватки. В комнате повисла тишина, и Ганс смотрел теперь не на нее, а на окно, затененное ставнями...

Тут вдруг погасла тусклая электрическая лампочка, висевшая над ее головой, и он невольно вскрикнул:

— Боже мой!

— Это не страшно, — сказала она. — Скоро опять дадут свет...

Он стоял не шевелясь и слышал, что она взяла в руки коробок спичек. Потом желтый свет от спички упал на ее лицо. Внезапно темнота вновь сгустилась, и только на комодке рядом с кроватью осталось тихое пламя — там горела свеча...

— Садитесь, — сказала женщина.

Не обнаружив в комнате стула, он сел на кровать.

— Простите меня, пожалуйста, — начал он.

— Хватит! — воскликнула она тихим голосом. — Пожалуйста, перестаньте об этом говорить!

Он замолчал и подумал: «Теперь я уже мог бы уйти, но мне этого совершенно не хочется, а кроме того, я и не знаю, куда идти». Он взглянул на женщину, и их взгляды на какой-то миг встретились. Потом он опять заговорил:

— На улице еще совсем светло, вы можете поберечь свечу.

Она молча покачала головой и бросила быстрый взгляд на колыбель, стоявшую посреди комнаты.

— Простите, — прошептал он, — я буду говорить потише.

Она поджала губы, и ему показалось, что она подавила улыбку. А потом едва слышно сказала:

— Ваш голос никого не разбудит. Ничто его не разбудит. Он умер... И уже похоронен.

Ровное звучание ее голоса пронзило его как током. Он содрогнулся. И почувствовал, что обязан что-то сказать или спросить.

— Он родился мертвым? — спросил Ганс и прикусил язык.

— Нет, — спокойно ответила она. Потом вдруг рывком легла на кровать, укрылась оде-

ялом и наглухо застегнула ворот черного халата.

— Он умер, когда в город вошли американцы, три дня назад. Свет земной жизни померк в его глазах в ту минуту, когда от пуль немецкого автоматчика у меня полетели стекла. — Она повела рукой в сторону окон, и Ганс заметил, что за рваными краями отверстий от пуль видны кусочки осыпавшейся зеленой краски ставней. Ее рука продолжала показывать: — Пули задели штукатурку на потолке, и гипсовая пыль посыпалась на нас, словно сахарная пудра...

Внезапно она умолкла и отвернулась к стене. Она лежала, не издавая ни звука, он не слышал даже ее дыхания, а плечи ее казались твердыми и неподвижными, словно деревянные.

— Сейчас я хочу заснуть, — сказала она. — Я очень устала.

— До свиданья, — пробормотал он.

— А где вы живете?

— Сам не знаю, — не сразу ответил он. Потом, немного выждав, продолжил: — Я хотел сказать, может быть, я мог бы переночевать в одной из ваших комнат...

— У меня только одна комната, — спокойно сказала она. — В углу лежат два старых матраца, а одеяла — на шкафу.

Он промолчал.

— Вы не слышите меня? — спросила она, не обернувшись и не переменив позы.

— Нет, я слышу. Спасибо.

Ганс сразу нашел два старых красных матраца, из которых клочками торчала зеленоватая морская трава, пахнувшая затхлостью. Он положил матрацы на пол и встал на цыпочки, чтобы снять со шкафа два свернутых в рулон одеяла, от которых разило подвалом.

— Если вы покончили с этим, — донеслось с кровати, — погасите, пожалуйста, свечу.

— Хорошо, — откликнулся он и, задув свечу, тихонько сказал: — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — эхом прозвучало в ответ.

Хотя он был вконец измотан, сразу заснуть не удалось. Ему было очень приятно вытянуть как следует ноги и знать, что у него есть удостоверение, которого вполне хватит на первое время. Время от времени он прислушивался к тишине, чтобы уловить ровное дыхание женщины, и в треугольный просвет между двумя покосившимися ставнями следил, как медленно темнело небо...

Когда он проснулся, еще не совсем рассвело, и его трясло от холода. Свет сочился между косо висящими ставнями, так что вверху образовался треугольник серого утреннего света. Медленно расползлся он по всей комнате...

Ганс лежал на полу, поэтому между ножками колыбели он видел ее — она лежала на кровати и курила сигарету, выдыхая дым плотными светло-серыми облачками: попадая в полосу света, они закручивались, словно столб пыли, потом как бы прочерчивали светлые полосы по темным предметам в комнате и превращались в туман. Ее левая рука с сигаретой свешивалась с кровати, и ему были видны коричневатый рукав вязаной кофты, очень маленькая белая рука и дымящийся столбик сигареты. Видел он и бледное округлое лицо, и спутанные светлые волосы, разметавшиеся по подушке, и ее глаза, темные и спокойные...

Потом она заметила, что он проснулся, и тихо сказала:

— Доброе утро.

— Доброе утро, — хрипло отозвался он.

— Ты замерз?

Он почувствовал, что его обдало жаром с головы до ног от интонации, с какой она вдруг обратилась к нему на «ты». В ее тоне слышалась и бесстыжая фамильярность, и что-то необычайно трогательное...

— Да, — прохрипел он, чувствуя, что едва владеет своим голосом — голос как бы стерся, израсходовался.

Она наклонилась и бросила ему свернутое в трубку одеяло, которое упало на пол рядом с его матрасом и подняло столько пыли, что он закашлялся.

— Спасибо, — произнес он, развернул одеяло, набросил его на себя и со всех сторон подоткнул края одеяла под матрац.

Треугольник между ставнями посветлел, крутящиеся в воздухе пылинки стали заметнее, и их стало как-то больше.

— Хочешь сигарету? — тихонько донеслось с кровати.

— Хочу, — откликнулся он, и это обращение на «ты» опять поразило его, словно удар грома.

Сунув руку под подушку, она вытащила смятую пачку сигарет, зажгла одну и размахнулась, чтобы перебросить к нему. Но вдруг рука ее замерла в воздухе, а голос тихо сказал:

— Нет, не могу. Не могу бросить над его... Над его...

Он откинул одеяло, подтянул повыше штаны — он их не снял вечером — и прошлепал босиком к ее кровати. Когда он пересекал полосу света, то почувствовал легкое приятное тепло, остановился и заглянул в пустую колыбель: подушки еще сохранили вмятинку — небольшое и пологое углубленье, в котором, очевидно, лежало дитя...

Внезапно на него упала тень, и он увидел, что женщина встала с кровати и теперь стояла у изголовья колыбели. Это она загораживала свет, исходящий из треугольной щели в ставнях. Свет скапливался на ее узкой спине и растекался лучами во все стороны, оставляя

бледное лицо в тени. Она протянула ему дымящуюся сигарету, и он сунул ее в рот. Женщина не отрывала глаз от колыбели, и он заметил, что губы у нее дрожали.

— Не могу, — прошептала она. — Я не могу горевать о нем. Разве не странно? — Она взглянула на него, и ему показалось, что она готова заплакать. — Звучит противоестественно, но я не нахожу в этом ничего противоестественного... Понимаешь, я ему даже завидую... Этот мир — не для нас, понимаешь?

Он кивнул. Она сделала шаг назад, и тут свет полился прямо ему в лицо и ослепил его. Казалось, что солнце поднимается по небу слишком быстро, широкая полоса света падала теперь уже так круто, что нижняя часть колыбели оказалась в тени.

— Я страшно замерзла, — сказала она и залезла в постель, сдвинув в сторону одеяла.

— Может, стоит открыть окно? — тихонько спросил он. — На улице уже совсем светло.

— Нет-нет, — поспешно возразила она, — оставь так.

Ганс подошел к своему ложу, натянул носки, накинул на плечи плащ, все еще лежавший на столе, и присел на ее кровать.

Он еще раз сильно затянулся сигаретой, почувствовал, что голова начала кружиться и подступила тошнота, погасил сигарету и сунул окурок в карман. Ему так хотелось расспросить ее о тысяче вещей, но он не мог выжать

из себя ни слова. Он посмотрел мимо нее в нишу окна, увидел там стол, заваленный платьями и всяким барахлом, слева от стола — шкафчик, на котором стояла грязная посуда и валялось несколько нечищенных картофелин. Тут только до него дошло, что он зверски голоден. Все его нутро словно свело судорогой, она подступила к горлу, и ему уже казалось, что пустой желудок у него бесконечно растягивается.

— Нет ли у вас... Нет ли у тебя немного хлеба?

Она взглянула на него, и этот взгляд опять ранил его, как удар сплеча. Ему почудилось, будто он падает назад, а его одновременно тянут вперед...

— Нет, — отрезала она, почти не разжимая губ. — Хлеба у меня нет. Но если он появится, принесу попозже...

Он пересел чуть подальше, чтобы можно было прислониться к спинке кровати, и вдруг услышал свой собственный голос, спросивший:

— Можно мне остаться у тебя? Я хочу сказать — на какое-то время... А может, навсегда?

— Да, — тотчас ответила она.

Они вновь смотрели в разные стороны. Но теперь она вынула руку из-под затылка, натянула одеяло на плечи и отвернулась к стене...

— Можешь остаться у меня, — опять заговорила она. — Мужа у меня нет, и ждать мне некого... У меня был... Год назад я жила с одним человеком. Мой ребенок был от него. Я его не знала как следует, даже не знала, как его настоящее имя... Просто он обращался ко мне на «ты», и я тоже говорила ему «ты», вот и все. А у тебя, у тебя-то ведь есть жена, верно?

— Нет. Она умерла.

— Но ты часто о ней думаешь?

— Да, я часто о ней думаю, даже очень часто. И сильно грущу, но не потому, что любил ее и что мне ее теперь не хватает, — нет-нет, совсем не поэтому, не думай. Причина совсем другая...

Он откинулся назад, лег поперек кровати, чтобы упереться головой в стену, и заметил, что она подобрала ноги, освобождая ему место. Она внимательно смотрела на него и, когда он вытащил окурок из кармана, кинула ему коробок спичек.

— Да, причина совсем в другом, — продолжил он. — Грущу я потому, что совсем не успел ее узнать и что ее уже нет, а я так и не сказал ей что-нибудь ласковое. Я не был с ней ласков. Венчание было убогое, все прошло кое-как, люди дрожали от страха — боялись воздушной тревоги, да и холодно было в церкви, — из огромных готических окон заранее вынули витражные стекла, сквозь отсыревшие куски толя страшно дуло, и в нефе царил грязноватый

сумрак. Вечный огонь у алтаря то и дело клонился набок и шипел, люстра качалась на длинной железной цепи, свешивавшейся с крюка на высоком сводчатом потолке. Священника пришлось ждать почти полчаса, и эти полчаса показались мне вечностью, я умирал от тоски, уперев глаза в жирный бритый затылок моего тестя, — отвратительный кусок мяса, которого я раньше и в глаза не видел. Потом появился священник, хмурый парень, наскоро накинувший поверх рясы стихарь...

Помолчав, Ганс загасил окурок и спрятал его в карман.

— Через десять минут мы были обвенчаны. Все присутствовавшие нервничали. При малейшем шуме, врывавшемся в однообразное завывание ветра, при трескотне мотора, сигнале проезжающей мимо машины или скрипе тормозов трамвая на углу все как один вздрагивали и были готовы сорваться с места.

Он взглянул на нее и вздохнул.

— Дальше, — сказала она.

— Придя домой, мы увидели телеграмму на мое имя, приказывавшую немедленно вернуться на Восточный фронт. Я не пробыл дома и полчаса и уехал, хотя... Хотя мог бы остаться на сутки.

— Ты так и не побыл с ней наедине.

— Почему же, побыл, — возразил он. Потом опять умолк и взглянул на нее. Она кивнула ему, чтобы продолжал. — Она приехала

ко мне два месяца спустя, когда я лежал в госпитале после ранения...

Воспоминание об этой единственной ночи возникло вдруг так явственно, что ему не захотелось о ней рассказывать и стало ясно, что он никогда не будет об этом говорить. Он наклонился вперед, оперся локтем о край кровати, повернулся спиной к женщине и уставился невидящим взглядом в стену, на которой четко высветился треугольник между ставнями, уже поднявшийся почти до половины дверной филенки.

В ту ночь он видел под собой пробор в ее волосах — узенькую белую тропку на темени, чувствовал кожей ее грудь и ее теплое дыхание на своем лице, и глаза его погрузились в бесконечную даль белой узкой дорожки ее пробора.

Где-то на ковре валялся его пояс с четкой выпуклой надписью на пряжке: «С нами Бог!» Еще где-то — китель с грязным подворотничком, где-то тикали какие-то часы...

Окна были открыты, и снаружи, с террасы, доносился нежный звон тонких бокалов, тихий смех мужчин и хихиканье женщин, небо было светло-голубое, а летняя ночь великолепной.

И он слышал, как бьется ее сердце так близко от его груди, а взгляд его то и дело ус-

тремлялся вниз по узенькой белой тропке ее пробора.

Было темно, но небо все еще светилось мягким летним светом, и он понимал, что был ей сейчас так близок, что ближе и быть невозможно, и тем не менее — бесконечно далек от нее. Они ни о чем не разговаривали, никто из них не упомянул ни день свадьбы, ни обряд венчания или час расставанья два года назад, когда он попросил ее прийти на вокзал...

Он чувствовал, что тиканье часов отрывало его от нее, тиканье часов было сильнее, чем удары сердца у его груди, — он уже не различал, чье это сердце билось — его или ее. Все это называлось: увольнение до побудки. Другими словами: переспи еще разок с кем-нибудь. Поэтому и пришлось завести будильник и получить разрешение взять с собой бутылку вина.

Сейчас он явственно различал в темноте эту бутылку — она стояла на комодике и казалась узенькой полоской света. Эта полоска света, то есть бутылка, была пуста, и на ковре, где лежали китель, брюки и пояс, должна была валяться и пробка от нее...

Потом он обнял ее одной рукой, держа в другой зажженную сигарету. Они не сказали друг другу ни слова, все их свидания были отмечены этой немотой. Он раньше всегда считал, что когда-нибудь сможет свободно разго-

варивать с девушкой, но эта ничего не говорила...

Небо за окнами все темнело, смех курортников на террасе угас, женское хихиканье сменилось зевотой, а чуть попозже он услышал более громкое звяканье бокалов — это кельнер захватывал их по четыре-пять штук в руку и уносил прочь. Потом унесли и бутылки — звук был более низкий и сочный, под конец сняли скатерти, составили друг на друга стулья, сдвинули столы. Он услышал, как уборщица долго и очень тщательно подметала пол: казалось, вся ночь состояла лишь из движений щетки в руках этой невидимой и очень добросовестной женщины. Она делала свое дело почти бесшумно и совершенно спокойно, ритмично и легко; он слышал шарканье щетки и мысленно видел, как эта женщина движется от одного конца террасы до другого. Потом раздался усталый испитой голос, спросивший из открытой двери:

— Еще не кончила?

И женщина ответила так же устало:

— Да вот, заканчиваю...

Вскоре после этого за окнами все затихло, небо стало темно-синим, и откуда-то издали все еще глухо доносилась музыка.

А часы тикали. И с каждой минутой, что уходила в вечность, он все больше удивлялся, что еще жив. И все так же на комодѣ стояла

пустая бутылка — едва заметная блеклая полоска во мраке.

Женщина, лежавшая рядом с ним, вдруг испуганно вскинулась и посмотрела ему в глаза. Она была очень бледна, лицо осунулось, глаза в этой бархатной темноте казались огромными, а темно-русые детские кудри делали ее совсем молоденькой. Она поглядела на него отчужденно, почти враждебно, потом закрыла глаза и взяла его руку в свои...

Так они лежали рядом, пока не рассвело. Винная бутылка медленно выплыла из черноты — светлая полоса, становившаяся все шире и ярче, а потом обретшая и округлую завершенность. Стали видны валявшиеся на полу китель с грязным подворотничком и пояс с четкой выпуклой надписью на пряжке «С нами Бог!», аккуратным кольцом окружавшей государственный герб со свастикой...

Покуда он думал обо всем этом, упершись взглядом в стену, световой треугольник поднялся еще сантиметров на пятнадцать и стал желтым, ярко-желтым, так что Ганс решил, что время подошло к восьми часам. Он резко обернулся, услышав скрип пружинного матраца, и увидел, что она встала с кровати, босиком подошла к столу, придерживая полы пижамы, собрала в охапку набросанную на него одежду и прочие вещи и, перекинув все это через согнутую в локте руку, пошла было к две-

ри, но остановилась подле него, сунула ноги в туфли и тихо спросила:

— Когда же она умерла?

— Позже, когда ее эвакуировали, — ответил он, обрадованный, что вновь может говорить. — Их поезд разбомбили, и ее тело нашли на полотне между рельсами. На нем не было никаких ран. Мне кажется, что она умерла от страха... Она была очень боязлива.

— Ты бы хотел, чтобы она сейчас была жива?

Ганс удивленно посмотрел на нее: он никогда еще об этом не думал, но ответил тотчас:

— Нет, не хотел бы... Я рад за нее...

Она начала застегивать черный халат, перебросив одежду через плечо.

— Пойду оденусь, — проронила она.

— Вот как, — сказал он и, прежде чем она вышла, успел спросить: — Значит, у тебя есть еще одна комната?

Она на секунду залилась краской — кровь вмиг окрасила ее бледное лицо и так же быстро исчезла.

— Да, но я боялась остаться одна — прошлой ночью ребенок еще был со мной...

Она вышла, и Ганс услышал, как она прошлепала по коридору и открыла дверь где-то в глубине квартиры. Он поднялся и подошел к окну...

Сдвинув вбок щеколду и распахнув створки ставней, он невольно зажмурился: снаружи

сиял яркий солнечный день, и в заброшенном парке, что раскинулся на той стороне узенькой улочки, все цвело и зеленело. Ему показалось, что листва деревьев никогда еще не была такого яркого сочного цвета и такой густой, на небе не виднелось ни облачка, и птицы щебетали в кустах. Эта птичья разноголосица звучала так звонко и жизнерадостно...

Далеко-далеко, позади садовых участков, над насыпью железной дороги он увидел обугленные развалины города, его разодранный мрачный силуэт... Он ощутил глубинную, сверлящую боль и быстро закрыл ставни. В комнату вернулись сумерки и покой, птичий щебет умолк, и он только теперь понял, почему она не хотела открывать ставни.

VI

Он все время валялся на кровати и ни о чем не мог думать. По большей части он чувствовал ужасную усталость, но иногда мучился и от бессонницы, а частенько, в сильный дождь, когда крыша протекала, он все равно не вставал, только укрывался с головой одеялом и плевал на дождь — каким-то образом все потом высыхало. Иногда покуривал, если она приносила ему табаку или сигарет, ел хлеб, пил кофе и супчик: супчик бывал почти каждый день, а к хлебу время от времени добавлялось повидло. Они виделись не часто, выпадали дни, когда он ее вообще не видел, только слышал, как она проходила на кухню, а утром, проснувшись и встав с постели, находил на кухне какую-нибудь еду: маргарин и хлеб, а в кофейнике на электроплитке — кофе. Ему оставалось только воткнуть вилку в розетку...

Но обычно она раз в день заходила к нему: он жил теперь в большой комнате, а она спала на тахте в кухне. Она просовывала голову в комнату — он видел ее бледное, красивое лицо — и спрашивала:

— Ты чего хочешь — поесть или сигарету?

Если он отвечал «да» — а он всегда отвечал «да», — она входила, клала все на стол и уходила. Иногда он тоже подавал голос:

— Погоди-ка минуточку!

Она замирала на ходу, оборачивалась, не отпуская дверную ручку, и спрашивала:

— Ну, в чем дело?

Он смущенно молчал и лишь после долгой паузы с трудом выдавливал:

— Я скоро поднимусь, еще несколько дней, и все, я начну тебе помогать...

— Прекрати, — раздраженно бросала она и выходила из комнаты. После такой сцены она целый день не заглядывала к нему, и ему приходилось утром вставать, доходить до кухни и смотреть, не оставила ли она ему чего-нибудь. При этом он всегда обнаруживал на столе записку: «Можешь взять половину хлеба и половину маргарина». Или же: «Ничего нет, кроме супа, одна сигарета лежит в шкафу».

Большую часть времени он чувствовал голод, но даже голод был не в силах поднять его с кровати. Он вставал только для того, чтобы сходить в туалет, — это стоило ему немалых усилий: нужно было одеться, спуститься по лестнице, там ему часто навстречу попадались люди, жившие, очевидно, на нижнем этаже: высокая толстая блондинка, неприязненно смотревшая на него, пока он не поздоровался с ней, тогда она тоже пожелала ему доброго утра. Еще он встречал пожилую женщину, кото-

рая жила, по всей видимости, под ним — изможденное лицо, обрамленное прядями нечесанных волос, — она никогда не отвечала на его приветствие. Внизу жили, наверно, и мужчины: он часто слышал, как они пели или ругались, и однажды он повстречал на лестнице одного из них, показавшегося ему сказочно элегантным: на нем был синий, хорошо сидевший костюм, белая рубашка с зеленым галстуком и даже шляпа. Этот ответил на приветствие. Иногда он слышал, как к дому подъезжали машины, но это случалось только по вечерам, а вечером он никогда не вставал.

Время шло. Он физически ощущал время, оно пролетало как легкий сон и в то же время тянулось бесконечно — странное такое зелье без цвета и вкуса, которое он ежесекундно вбирал в себя...

Однажды вечером он спросил Регину:

— Какое сегодня число?

И она спокойно ответила, стоя в дверях и не обернувшись:

— Двадцать пятое.

Он ужаснулся: оказывается, он уже почти три недели провалялся в постели. Эти три недели казались ему бесконечными, он думал, что уже всю жизнь лежит в постели, в этой полутемной комнате с закрытыми ставнями и ему приносят хлеб, сигареты, супчик...

Три недели! С тем же успехом могли бы пройти три года: у него совершенно атрофи-

ровалось чувство времени, он как бы с головой погрузился в эту тусклую нереальную реальность.

Потом Регина не заглядывала к нему в комнату два дня кряду, хотя он слышал, как она проходила к себе, и когда утром он вставал, чтобы поискать какую-нибудь еду в кухне, то ничего не находил, даже записки. Он обшарил все ящики, все шкафы, но нигде ничего не было. В какой-то старой банке из-под повидла он обнаружил нечто, вероятно, забытое ею: странное, темное, комковатое вещество, бывшее некогда порошком; оно пахло супом. Ганс развел его водой и поставил кастрюльку на плитку. Несмотря на голод, он почувствовал легкую тошноту, когда жидкость в кастрюльке нагрелась и запах усилился. По-видимому, это была старая-престарая суповая приправа: запах у нее был явно химический и невыносимо противный, но он все-таки выхлебал всю кастрюльку.

Вечером, услышав, что Регина вернулась, он ее позвал, но она не пришла, а у него не было сил встать. Позже, когда она проходила по темной прихожей, он еще раз позвал ее, но она опять не услышала. Потом она вернулась на кухню, но он все еще не мог собраться с силами, чтобы встать и поговорить с ней.

На следующее утро в кухне опять не было никакой еды, зато на столе лежала записка: «У меня ничего больше нет, может, что-нибудь

появится нынче вечером». В ожидании ее он сидел на кухне, временами ложился в постель и засыпал, но, когда она вернулась, он проснулся. Часы показывали полдень.

Он прошел на кухню и увидел ее, устало сидевшую на стуле с сигаретой в руке. На столе лежал хлеб.

Она засмеялась, когда он вдруг вырос на пороге.

— Ого, — воскликнула она, — от голода ты вон каким живчиком стал! Прости, — добавила она тихо, — заходи, поешь, пожалуйста.

Он почувствовал, что залился краской до корней волос, и пристально взгляделся в ее лицо: оно оставалось бледным, лишь слегка порозовело, но никакой насмешки в нем не было, и он впервые ощутил желание ее поцеловать.

Когда он сидел за столом, прихлебывая кофе и очень осторожно и вдумчиво кладя в рот маленькие кусочки черствого хлеба, она спросила:

— У тебя что — совсем нет документов?

— Почему же, есть, — буркнул он. — Только они ненастоящие.

— Покажи.

Он вынул из кармана удостоверение и протянул ей. Она внимательно просмотрела его, наморщив лоб, и сказала:

— Выглядит, как настоящее. Тебе не кажется, что стоит попробовать получить на него талоны?

Он покачал головой.

— Нет, — отрезал он. — Этого человека нет на свете, и это не мое имя. Если заметят...

— Тебе надо получить настоящие документы.

— Надо-то надо, — сразу согласился он. — Только как это сделать? Кстати, ты часто бываешь в городе?

— Конечно, каждый день.

— Найдется у тебя конверт?

— Да.

— Пожалуйста, дай мне один.

Она удивленно посмотрела на него, но поднялась со стула и вынула из ящика буфета зеленый конверт.

Он сунул удостоверение в конверт, заклеил его и надписал карандашом: «Доктору Вайнеру, Больница Милосердных сестер».

— Это удостоверение принадлежит не мне, — сказал он. — Ты сможешь отнести доктору этот конверт?

Она взяла конверт, прочла адрес и сказала:

— Хорошо, но тебе нельзя находиться здесь без документов, они хватают всех, у кого нет справки об освобождении из лагеря для военнопленных.

Потом сунула письмо в карман и встала.

— Я отнесу туда письмо, раз ты этого хочешь. А как получилось, что у тебя чужое удостоверение?

— Я взял его на время, а потом забыл вернуть.

Она хотела было уйти, но он задержал ее:

— Подожди минуточку. — И когда она удивленно обернулась, спросил: — Как я могу заработать денег?

Она засмеялась:

— Ты хочешь зарабатывать?

— Да, — кивнул он и почувствовал, что опять залился краской. — Должен же я что-то делать... И для тебя тоже...

Она промолчала, опустив веки, и он увидел темные круги у нее под глазами, бледные щеки... Она открыла глаза, и он понял, что спросила она всерьез. Сев, она вынула из кармана сигареты, одну протянула ему и сказала:

— Я рада, что ты заговорил со мной об этом, долго мы так не протянем. Вот посмотри. — Она вынула из хозяйственной сумки фотоаппарат, завернутый в белую бумагу. — Это — последнее, что у меня еще осталось. У тебя какая профессия?

— Я книготорговец.

Она засмеялась:

— Я не видела пока ни одной книжной лавки. А кроме того, с такой работы не проживешь...

— Почему это?

— Потому, что самое правильное сейчас — торговать на черном рынке.

Она внимательно поглядела на него, и ему показалось, будто на ее лице промелькнула улыбка. В то же время вид у нее был серьезный, и она была очень красива. Он почувствовал, что ему до смерти хочется ее поцеловать.

— Но черный рынок — не для тебя. И не пытайся, ничего не выйдет. У тебя это на лице написано. Ты понял?

Он пожал плечами:

— Что же мне делать?

— Воровать, — ответила она. — Это — еще одна возможность выжить. — Она опять испытующе посмотрела на него. — Может, с этим ты справишься. Но прежде всего надо добыть тебе настоящие документы, чтобы ты смог выходить из дому и чтобы мы получили талоны.

Она задумалась, потом сунула фотоаппарат в сумку и совершенно неожиданно сказала:

— До свидания...

В этот день он совсем не спал. И беспокоился, пока она не пришла. Всю вторую половину дня он сидел безвылазно в своей комнате, слегка приоткрыв ставни и глядя наружу. Там простирался огромный запущенный парк, и на фоне серого безграничного неба он увидел небольшую кучку суевившихся людей. Несколько мужчин и женщин валили деревья: он слышал удары топора и грохот, когда падало очередное дерево.

Вечером Регина сразу пришла к нему в комнату и положила на стол лист белой бумаги. Он подошел к ней, положил руку на ее плечо и так, стоя рядом, смотрел на плотные ряды букв на белой бумаге, а ее указательный палец двигался от пункта к пункту, пока она говорила:

— Тут тебе нужно только вписать, как тебя зовут или другое имя, какое хочешь, потом свою профессию, дату рождения, место рождения, населенный пункт, где ты попал в плен. Все остальное оформлено по всем правилам — и печать, и подписи настоящие, вот тут указан лагерь, из которого тебя выпустили, запомни. Но заполнить все это надо по-немецки и по-английски. А ты знаешь английский?

— Немножко, — ответил он. — Бог мой, откуда у тебя это?

— Обменяла, — ответила она. — На мой фотоаппарат. Справка настоящая, мне ее дал один американец...

— Бог мой, — опять пробормотал он. Но когда он крепче сжал ее плечо, она стряхнула его руку...

— Письмо твое в больницу я тоже отнесла.

— Спасибо.

Она отвернулась и направилась к двери...

— Регина, — позвал он.

— Ну, что еще?

— Останься со мной, — сказал он и подошел к ней.

Она попыталась улыбнуться, но улыбка у нее не получилась. И она спокойно позволила ему положить руки ей на плечи и поцеловать.

— Нет-нет, — тихо проговорила она, когда он ее отпустил, — оставь меня, пожалуйста... Я так устала, что мне хочется умереть. Не могу, ведь я тоже хочу есть, ужасно хочу.

— Мне кажется, я тебя люблю, — сказал он. — А ты, ты меня любишь?

— Кажется, люблю, — ответила она устало. — Правда, мне так кажется. Но сегодня оставь меня в покое, пожалуйста, дай мне побыть одной...

— Разумеется, прости меня.

Она лишь кивнула на прощанье, и он распахнул перед ней дверь, когда она выходила. Он увидел, как она устало прошла на кухню, и услышал, что она тотчас улеглась, не зажигая света...

VII

Он не понимал, что с тех пор прошло всего три недели: ему-то казалось, что больше года. Монахиня, по-видимому, не узнала его, а сама она мало изменилась: ее мясистые бицепсы и по-детски маленькие ручки немного похудели, а широкое глуповатое лицо погрустнело. Он сразу ее узнал. Она стояла в клубах пара, склонившись над большой кастрюлей, и раздавала суп. Несколько девочек ожидали в очереди перед горячей кастрюлей, и та, чья очередь подходила, протягивала монахине свою жестяную кружку с откинутой крышкой. Монахиня считала половники зачерпываемой жижи, пахнувшей свеклой и слегка отдававшей прогорклым жиром. Небольшая очередь в бело-голубых полосатых передниках медленно уменьшалась, и он уже слышал, как половник скребет по дну кастрюли, и видел, что клубы пара поредели. Проплывая мимо него в открытую дверь, они оседали на его лице капельками жаркого пота, который постепенно охлаждался, становясь похожим на изморось, вот только разило от него, как от грязной воды после мытья посуды. Девочки выскальзывали из кухонного закутка через щель между огромной раздвижной

дверью и стеной — дверь не раздвигалась и была лишь прислонена к проему: направляющие желобки вверху погнулись. Время от времени в эту щель залетал порыв ветра. Он закручивал облака пара и уносил их наружу через открытое окно, так что на короткий миг монахиня была видна вполне отчетливо и перед нею — тощие шейки двух девочек, еще ожидавших своей очереди...

За его спиной во двор въехал большой грузовик, и на землю высыпалась огромная куча брюквы. Монахиня тут же сорвалась с места, появилась на пороге и сердито крикнула:

— Осторожнее, так вы мне всю брюкву перепортите, а ведь мы ею людей кормим...

Она стояла почти рядом с ним. Он увидел, как затряслось ее лицо от гнева, и услышал, что за его спиной засмеялись рабочие. Ганс обернулся: один из них сбрасывал вилами остатки брюквы из кузова, а тот, что сидел за рулем, протянул монахине накладную для подписи. Он был толст, бледен и, судя по всему, очень торопился. Монахиня вернула водителю подписанную накладную, поглядела на него, сокрушенно покачав головой, и только теперь заметила Ганса. Она все еще сжимала в руке половник, с которого капала горячая жижа.

— Чего вы хотите? — спросила она.

— Мне бы немного поесть...

— Это невозможно, — отрезала она, удаляясь, — у нас все рассчитано...

Но он не ушел — смотрел, как она обслуживала двух последних девчушек.

Его знобило. Накануне шел снег — отвратительный, мокрый майский снег, во дворе все еще стояли лужи, и кое-где по углам у каменной стены и в очень тенистых местах между грудками щебня и облупившейся стеной он заметил кучи грязного слежавшегося снега.

Неожиданно монахиня подозвала его к себе, неловко помахав половником над кастрюлей, и Ганс торопливо подошел...

Она прошептала:

— Никому не говорите, что я дала вам поест, иначе завтра полгорода соберется здесь. Ну давайте, — добавила она уже энергичнее, — подойдите поближе...

Она наскребла из кастрюли половину половника и вылила в жестяную миску.

— Побыстрее, — проронила она на бегу, бросившись к двери, чтобы посторожить.

Ганс быстро выхлебал суп — он был горячий и жидкий, но очень вкусный. Главное, горячий. Ганс почувствовал, что слезы навернулись ему на глаза, и он ничего не мог поделать — они просто катились по его лицу, а руки у него были заняты, и он не мог их смахнуть. Потом заметил, что они, уже поостыв, застревали в складках его лица и скатывались наискосок ко рту, так что он чувствовал их солоноватый вкус...

Ганс поставил пустую миску на крышку кастрюли и направился к двери. На лице монахини было написано нечто похожее не на жалость, а скорее на боль — своеобразная смесь отстраненного участия и ребячливой нежности.

— Вы очень голодны? — спросила она. Он кивнул. — В самом деле очень? — Он еще раз кивнул, уже энергичнее, и с надеждой уставился на ее красиво изогнутые губы, не вяжущиеся с ее бледным и жирным лицом. — Минуточку...

Монахиня подошла к столу, стоявшему в кухонном закутке, и, покуда выдвигала ящик стола, он надеялся, что она даст ему буханку. Но она достала оттуда всего лишь бумажку, которую тщательно разгладила и протянула ему. Он прочел: «Талон на получение одной буханки у Комперц, Рубенштрассе, 8».

— Спасибо, — пробормотал он. — Большое спасибо. Сейчас еще можно туда пойти?

— Нет, — покачала она головой. — Сейчас уже поздно. Не успеете до комендантского часа. Так что идите в свое убежище, а завтра утром...

— Да, конечно, — кивнул он. — Спасибо, большое спасибо...

VIII

На стене висел большой кусок картона, на котором черной краской вкривь и вкось было выведено: «Залог — 100 марок и удостоверение личности». Пахло затхлостью, нищетой и специфическим запахом летнего пота бедняков. Он медленно продвигался в длинной очереди вперед, к темной дыре в толстой бетонной стене с надписью: «Вход». Женщина, сидевшая возле темной дыры и распоряжавшаяся кучей грязных и рваных одеял, спросила у него документ, и он протянул ей справку об освобождении из лагеря, которую раздобыла Регина. Женщина записала его фамилию в список и бросила кратко: «Одеяло?» А увидев, что он отрицательно мотнул головой, подтолкнула его вперед. Ее серое лицо нервно и алчно дернулось, и она выхватила из рук следующего по очереди его грязную справку. А сзади напирали: «Проходите, проходите»...

Людской поток понес его внутрь помещения. Там уже было полно народу. Все столы и скамьи были заняты, так что ему пришлось сесть на пол: ноги не держали. В зале было сумрачно, дневной свет пробивался в какую-то

щель, лампы не горели. Внезапно все начали требовать света, вся толпа, алчущая света, хором завопила: «Света! Света!» В дверях появился угрюмый служащий и сухо объявил, что света больше не будет, потому что каждую ночь крадут лампочки. Он выждал, когда утихнет шум, и сообщил правила распорядка, которые сводились к тому, что следует остерегаться воров и что утренние поезда будут объявлены...

Он сидел на бетонном полу в одном из углов зала, где его не могла затоптать толпа новоприбывших, и был рад, что обрел наконец какой-то покой. Но когда окончательно стемнело, стало совсем плохо. Каждый прибывающий поезд привозил новые полчища оборванцев — грязных бродяг с мешками картофеля или помятыми чемоданами, освобожденных из лагерей солдат, растерянно теребящих свои серые пилотки или прячущих руки в карманах шинелей. Каждый раз как прибывала очередная партия, дверь открывалась, и в слабом свете, падавшем из коридора, он видел только головы новоприбывших, казавшихся черными силуэтами...

Позднее еще раз появился тот служащий и объявил в темноту зала, что курить запрещается. В ответ раздался возмущенный вой, и служащий раздраженно бросил:

— По мне — курите, чтоб вы сдохли!

В разных концах зала горели огарки свечей и вместе с тлеющими огоньками сигарет и трубок создавали призрачное освещение. Позади Ганса на скамье сидели две женщины, своими ящиками и чемоданами захватившие большой участок пола. Когда он рассматривал лица окружавших его людей по отдельности, все они производили впечатление таких же нищих, уставших и молчаливых, как и он сам, но в массе своей толпа казалась враждебной и агрессивной. А когда свечи одна за другой погасли и в темноте засветились лишь слабые огоньки сигарет, все вокруг начали есть. Женщины, сидевшие позади него, жевали особенно громко: они все чавкали и чавкали, неумоимо и бесконечно двигали челюстями, поглощая сначала хлеб, много хлеба, — долго, очень долго слышал он это сухое, как у кроликов, пережевывание пищи — так они в темноте ели хлеб. Потом принялись за что-то сочное и в то же время хрустящее, видимо, фрукты, яблоки. Под конец они стали что-то пить: он явственно слышал булькающие звуки, когда они пили из горлышка. Слева и справа от него, спереди и сзади, с наступлением полного мрака все принялись за еду, словно только его и ждали, чтобы поест. Сотни челюстей скрытно жевали и грызли, то тут, то там вспыхивала быстро подавляемая ссора. И этот всеобщий жор отложился у него в мозгу как отзвук не-

кого проклятья, имени которого он не знал. Утоление голода уже не казалось ему теперь приятной потребностью. Оно было мрачным законом существования, вынуждавшим людей заглатывать пищу, любой ценой заглатывать, не утоляя, а, наоборот, словно даже усиливая голод. Ему казалось, что они задыхались, жуя. Этот процесс длился часами, и, когда часть бункера вроде бы утихомиривалась, снаружи, с вокзала, втискивалась новая толпа, становилось все теснее, и через какое-то время вокруг снова начинали шелестеть бумагой, вскрывать картонные коробки, торопливо рыться в мешках и пакетах, отщелкивать замки чемоданов — под покровом темноты опять раздавалось это отвратительное бульканье...

Потом началось перешептывание: во мраке люди тихонько делились воспоминаниями об удачном обмене вещей на продукты в деревне или жаловались на исчезновение запасов...

Пот выступил у него на лбу, хотя он дрожал от холода. Он обнаружил рядом угол какого-то одеяла, сел на него и прислонился спиной к туго набитому рюкзаку — картошка в нем на ощупь казалась костями какого-то таинственного скелета. Кое-кто все еще курил, огоньки тлеющих сигарет вроде бы даже множились, воздух становился удушливым и зловещим. Потом в одном из углов едва слышно

заиграла губная гармоника. Раздался громкий возглас: «Эрику» давай, сыграй «Эрику»!» Гармоника сыграла «Эрику». Другие голоса просили исполнить какие-то еще песни, и тогда игравший хриплым голосом потребовал, чтобы ему заплатили. В темноте стали передавать невидимые дары — в невидимые руки клали и отправляли их в быстрое и беззвучное путешествие во мраке: ломоть хлеба или яблоко, пол-огурца или окурочок. Внезапно где-то разгорелся скандал — ругань и драка — из-за того, что какую-то мзду не передали адресату. Во всяком случае, гармонист утверждал, что ее не получил, и отказывался сыграть заказанную песню. Соседи жертвователя в мгновение ока установили место, где она исчезла. В темной массе тел смутно обозначились движения спорщиков: угрожающие волны наседающих и замахивающихся людей. Потом вдруг наступила тишина, и гармоника заиграла по заказу кого-то другого.

Две женщины за спиной Ганса, видимо, уже уснули, с их стороны не доносилось ни звука, чуть подальше слышалось похотливое хихиканье парочки, гармоника умолкла, мерцающих сигаретных огоньков стало заметно меньше. Слева и справа руки его наткнулись на бесформенные тюки, он так и не понял, мешки это были или люди...

Потом он, наверное, заснул и был внезапно разбужен диким криком: кто-то в темноте

наступил на лежащего. Судя по всему, началась драка, в результате которой пропало одно место багажа. Высокий взволнованный мужской голос вопил: «Мой чемодан, мой чемодан... Мне надо на поезд в два сорок!» Целый хор голосов подхватил: «В два сорок будет поезд, нам он тоже годится». В темноте началась суматоха и возня, а мужской голос все твердил про свой чемодан. Потом дверь распахнулась, и в слабом свете электрической лампочки Ганс увидел, что в коридоре стоит плотная толпа. А тот мужчина завопил: «Полиция, полиция, мой чемодан!..»

Воцарилась мертвая тишина, когда в коридоре две полицейские каски стали протискиваться вперед. Потом очень яркий луч большого карманного фонаря врезался в темноту зала, осветив танцующие в воздухе пылинки и согбенную в ожидании толпу людей, — вид у них был смиренный, как бы молитвенный, и лица обращены к свету.

Голос полицейского сказал спокойно и четко:

— Чемодан. Если его не...

Но в этот миг мужчина, очевидно, уже получил свой чемодан, потому что крикнул:

— Да вот он, чемодан, нашелся!

Тут же из толпы понеслись выкрики:

— Старый идиот! Глупая свинья! Нечего было рот разевать!..

Дверь закрылась, стало опять темно, но с этой минуты Гансу больше не спалось. Каждые четверть часа в зале возникало и распространялось волнами тревожное движение: то объявляли прибытие поезда, то подзывали знакомых, то вопили, разыскивая свой багаж, а воздух в этом бетонном мешке становился все более душным и отвратительным...

Ганс то и дело вытирал пот со лба, в то же время чувствуя, что подмерзает снизу. Кусок одеяла и рюкзак, к которому он прислонялся, исчезли. Он медленно пополз дальше, пока не наткнулся на какое-то препятствие, склонился над ним, чтобы выяснить, что это — мертвое или живое, и в нос ему ударил резкий запах лука. Он обнаружил, что это большая корзина с луком, обшитая мешковиной. Ганс сел на корзину — сама возможность нормально сидеть была необычайно приятна. Он уселся поудобнее, опустил голову на грудь и вновь уснул, но ненадолго: кто-то столкнул его с корзины, и голос столкнувшего сказал: «Наглая свинья». Он очутился на каменном полу, отполз в сторону, скорчился и замер в ожидании...

Стало немного просторнее, и он пополз дальше, пока не услышал вблизи чье-то дыхание. Он осторожно подобрался поближе, нащупал чью-то голень и туфлю. Туфля была женская — маленького размера и на высоком каблуке, и он склонился над спящей там,

где должно было находиться ее лицо. Теплое дыхание мягко коснулось его щеки, он подставил ладони потоку теплого воздуха, исходящему из ее рта, и склонился еще ниже, но так ничего и не смог разглядеть. Потом он различил в запахе этой незнакомой женщины — он не мог определить ни ее возраста, ни внешности — что-то похожее на хорошее мыло: в нем чувствовался легкий аромат духов. Он так и остался сидеть, склонившись над ней и подставив лицо ее дыханию, — оно было такое теплое и спокойное, а аромат хорошего мыла чувствовался все сильнее и сильнее. Потом он привалился к ней сбоку и прижался лицом к ее пальто, от которого пахло мускусом и мятными конфетами. От этого сильного и очень приятного запаха он уснул...

А когда проснулся, оказалось, что все покидают зал. Незнакомая женщина, спавшая рядом, уже исчезла. Ганс втиснулся в толпу выходящих, его опять остановили у стола, где лежали кучки грязных одеял, опять пришлось показывать свое удостоверение и ждать, пока проверят, брал он одеяло или нет. За столом теперь стоял старик, мрачный инвалид с незажженной трубкой во рту, который тупо принимал одеяла и возвращал взятые за них в залог деньги, отсчитывая их прямо в протянутые к нему грязные ладони...

На улице было совсем светло, потеплело, и, когда Ганс принялся искать талон на хлеб, он со страху тут же взмок от пота: та бумажка исчезла. Он судорожно шарил по карманам и чувствовал, что смертельный ужас угнездился глубоко в его душе, ужас из-за потерянного или украденного хлеба. Сердце его бешено колотилось, и он с трудом удержался от слез, когда наконец нащупал скомканную бумажку в нагрудном кармане. Он развернул ее, тщательно разгладил и пошел дальше, прочитав: «На одну буханку в булочной у...» Сердце его все еще бешено колотилось...

IX

Сердцебиение не утихало, он все время думал о хлебе, и удары сердца походили на слегка болезненную, но все же приятную пульсацию в ранке: сердце его было словно большой ссадинной в груди. Он шагал с такой скоростью, на какую хватало сил, выбирая улицы, посреди которых были расчищены от обломков узенькие тропинки, и уже к девяти часам добрался до улицы, от которой ответвлялась Рубенштрассе. Вспомнив о той женщине, не мог удержаться от улыбки: что она скажет, когда он вдруг заявится и предъявит ей свое право на буханку. Конечно же она его узнает. В этом он был уверен. Может быть, она предложит ему деньги, кучу денег. Их хватит, чтобы купить себе настоящее удостоверение с его настоящим именем — клочок бумаги, но настоящий, насколько может быть настоящим купленный клочок бумаги. Но еще сильнее, чем при мысли об удостоверении, которое он сможет купить, еще сильнее билось его сердце при мысли о хлебе — настоящем, реальном хлебе. Пока у него была лишь бумажка, дающая право на хлеб, но не сам хлеб. А ему так хотелось ощутить его ароматную мякоть, ку-

сать его и отламывать большие куски, хотелось принести его Регине. Целая буханка свежего хлеба — в поджаристой корочке запеченные островки теста; какой необычайный у него запах и вкус, такой вкус может быть только у хлеба. С какой-то странной радостью, уже как бы не совсем чувственной, он вспомнил о хлебе, который дала ему монахиня почти три недели назад. Вчера он вышел из дому, чтобы раздобыть какой-нибудь еды, как обещал Регине, но почти ничего не сумел: у него не было ни денег, ни вещей для обмена. Но одну буханку он все же принесет домой. А может, и много буханок, может, та женщина даст ему деньги, много денег, и он сможет купить на них много хлеба. Цены на хлеб сразу резко подскочили, как только война кончилась. Мир взвинтил цены. И все же теперь хлеб можно купить, только он очень дорог.

Он уже решил, что не станет покупать удостоверение — только хлеб. Ведь у него пока еще есть документ, отличный клочок бумаги, за который Регина отдала свой фотоаппарат. Жалко, подумал он, наверное, было бы лучше обменять его на хлеб...

Он присел на развалины бассейна, чтобы унять сердцебиение. Это саднящее место в груди казалось ему все расширяющейся и углубляющейся раной, боль от которой доставляла ему странное удовольствие...

Зеленые кафельные плитки бассейна почти отмылись дождем и снегом последних дней и теперь сверкали на солнце. Тут же валялась дверца от душевой кабины с черно-белым эмалированным номером, выкрашенная светло-зеленой краской.

Дату бомбежки можно определить по наличию или отсутствию зелени на развалинах: это чисто ботанический вопрос. Здешняя груда развалин была голой и лысой — камни с равными краями, недавно взорванная кирпичная кладка, все это в диком беспорядке навалено друг на друга, вдобавок торчащие в небо железные балки почти без следов ржавчины; нигде ни травинки, в то время как в других местах уже успели вырасти деревца, прелестные молодые деревца в кухнях и спальнях, бок о бок с ржавым остовом сгоревшей печи. Здесь же — лишь картина чистого разрушения, пустынная и зловещая, словно еще дышащая губительным дыханием бомбы. И только кафельные плитки — там, где они сохранились, — блистали невинностью.

Ганс почувствовал, что уже принялся считать деньги, которые получит от той женщины: тысячу, подумал он сначала, потом уже несколько тысяч, и ругал себя за то, что не принял тогда ее предложение ему помочь. Наверняка у нее было очень много денег, наверняка завещание ее мужа стоило несколько сот тысяч марок, и он, он оплатил его своей смер-

тью, то есть очень дорого. Это «тогда», отстоявшее от «теперь» всего на восемнадцать дней, представлялось ему сейчас бесконечно далеким. Тогда еще шла война, все еще шла, и теперешняя уверенность в том, что войны больше нет, делала эти восемнадцать дней такими давними и долгими, что он смотрел на это недавнее прошлое, как на бесконечно уменьшенную миниатюру. Оно чудилось ему более древним, чем Древняя Греция, всегда казавшаяся ему безумно далекой седой стариной.

На развалины вскарабкались два паренька и начали разламывать вырванную взрывом дверцу кабины. Делали они это вполне профессионально: сначала молотком разбили на части коробку, потом вытащили из пазов филленки и увязали все это в небольшой плоский пакет.

Он поднялся, чтобы пробраться в переулок. Хлеб, думал он, значит, хлеб у меня наверняка будет. И деньги тоже. Теперь он уже всерьез рассчитывал на деньги — на приличную сумму в счет долга за его смерть, которая наверняка потянет на стоимость двадцати буханок...

Когда он вошел в парадное, то почувствовал, что его руки, вцепившиеся в бумажку, были мокрыми от пота. Текст, напечатанный на машинке, немного размазался, когда он разгладил бумажку и постучал в дверь. Долго ничего не было слышно, слишком долго, как ему

показалось, и он постучал еще раз, уже энергичнее. Стук без эха тонул в этой забитой вещами прихожей. Не услышав опять никакого отклика, он трижды сильно ударил каблуком в дверь. И уловил тихое звяканье стекла над дверью и шелест посыпавшейся штукатурки...

Тут наконец-то открылась слева дверь, ведущая в комнату той женщины, и он перепугался, заслышав тяжелые мужские шаги. Дверь отворилась; он увидел лицо — длинное и широкое бледное мужское лицо с нервно перекошенным ртом...

У Ганса была одна черта, весьма обременительная, а зачастую и просто тяжкая: он помнил все лица, попадавшиеся ему на жизненном пути. Все они следовали за ним, и он всегда их узнавал, если они вновь появлялись. Они плавали где-то в его подсознании, в особенности те, которые он видел лишь мельком и однажды. Они проплывали по кругу, словно серые рыбы между водорослями в мутном пруду, иногда почти высовывали свои безмолвные головы из воды. Но по-настоящему выныривали и торчали перед ним явственно и неотвратно, только если он их и на самом деле вновь встречал. Казалось, будто их отражение ясно и четко всплывает, когда они сами появляются в этом мучительно перенаселенном секторе — в поле его зрения. Они все обязательно появлялись: лицо трамвайного кондуктора, однажды, много лет назад, продавшего

ему проездной билет, превратилось в лицо земляка-ополченца, лежавшего на соседней койке в эвакуационном пункте для раненых: то был парень, у которого из-под бинтов на голове вылезли полчища вшей, копошившихся в свернувшейся крови, словно в свежей. Эти вши мирно ползали по шее и по лицу лежавшего без сознания парня; Ганс видел, как эти наглые твари взбирались по ушам, соскальзывали вниз и застревали на плечах того самого человека, который в трех тысячах километрах к западу семь лет назад продал ему проездной билет с правом на пересадку. Только теперь у него было изможденное лицо страдальца, а тогда оно было весьма свежим и жизнерадостным...

Но это широкое бледное лицо с нервно перекошенным ртом не изменилось, ни война, ни разруха не смогли ничего с ним поделать: та же рыхлая оболочка академического спокойствия, те же глаза, которые знали, что они знают нечто этакое, и как единственный признак легкого страдания — слегка приоткрытые, изящно изогнутые губы, с выражением страдания, вполне вероятно, вызванного отращиванием, особо приятным видом отращивания. В тусклом освещении прихожей это лицо в самом деле показалось Гансу головой огромного бледного карпа, молчаливо и самоуверенно высывающейся из пруда, в то время как руки оставались внизу и были невидимы в

плотном мраке прихожей. Это был доктор Фишер, один из постоянных покупателей того книжного магазина, где Ганс обучался профессии продавца и где ему лишь однажды, как наиболее многообещающему ученику, разрешили обслуживать доктора Фишера — тот слыл большим знатоком книг и был одновременно филологом, юристом, издателем журнала, имел глубокую и довольно продуктивную склонность к изучению творчества Гете и считался в ту пору неофициальным советником по культуре его высокопреосвященства кардинала. Это лицо Ганс лишь единожды видел вблизи, в другие дни — лишь мельком, когда доктор Фишер быстро проходил мимо него по книжной лавке, чтобы затем скрыться за дверью шефа. С тех пор минуло почти восемь лет, но Ганс тотчас узнал его: леска мгновенно взвилась и выдернула на поверхность эту голову.

— Что вам угодно? — спросило лицо.

— Хлеба, — сказал Ганс и протянул бумажку, словно в окошко кассы.

— Хлеба больше нет.

Ганс не понял.

— Хлеба, — сказал он. — Но монахиня...
Ведь у меня есть...

— Нет, — возразил голос спокойно и деловито. — Нет, хлеба больше нет.

Тут снизу вынырнули руки, узкие руки с длинными пальцами. Они поднялись и схвати-

ли бумажку, заключавшую в себе хлеб, и пальцы разорвали бумажку, они разодрали ее не одним-единственным коротким рывком, а вновь и вновь складывали и рвали, четыре раза, пять раз. С радостью — это было видно; клочки разлетелись перед дверью, как белое конфетти, рассыпались, как хлебные крошки...

— Вот вам ваш хлеб, — сказал голос.

Ганс понял, что произошло, только когда дверь перед ним захлопнулась — дверь, это шаткое сооружение, склеенное из коробки, кусков картона и стекла, теперь громко задрезжавшего, качнувшись и вызвав новое осыпание крошечных частиц штукатурки...

Ганс долго стоял, стараясь хоть что-то ощутить — ненависть, или злость, или боль, но так ничего и не ощутил. Может, я уже умер, подумалось ему. Но нет, он был жив и вполне пришел в себя, когда ударил носком ботинка в дверь и почувствовал дикую боль в ступне. Но ненависти он в себе так и не обнаружил, даже злости не было, только боль...

Х

Когда Фишер возвратился в комнату, Элизабет отвернула лицо от стены и тихо спросила:

— Кто это приходил?

— Нищий, — коротко бросил он и уселся в кресло.

— Ты ему что-нибудь подал?

— Нет.

Она вздохнула и вновь отвернувшись к стене. Занавески были отдернуты, и в больших темных рамах окон красовалась фантастическая картина развалин: почерневшие от дыма боковые стены домов; треснувшие фронтоны, угрожавшие обвалом; поросшие зеленым покровом груды камней, взорванные во второй раз, — лишь кое-где эта зелень выглядела бархатистой и мирной...

— Ты ничего ему не подал... А кто это был?

— Понятия не имею, — отмахнулся тот. — Мало ли их...

Она тихо заплакала, и он насторожился: до сих пор она ни разу не плакала. Он видел ее изящный затылок со спутанными волосами, вздрагивающие плечи и слышал эти странные прерывистые всхлипывания. Он был удивлен,

и его неприятно задело, что она стала до такой степени сентиментальной.

— Не сердись на меня, — начал он, — но мне хотелось бы прийти к некоему заключению, все равно к какому, ты понимаешь. Лично мне все это совершенно безразлично, хотя я считаю деньги слишком серьезным делом, чтобы отнестись к ним сентиментально. Как я уже сказал, твой свекор был бы удовлетворен, если бы ты устно заверила его в том, что покамест не считаешь завещание Вилли действительным и прекращаешь распоряжаться его деньгами и имуществом. Устно, понимаешь, большего от него и требовать нельзя. В противном случае... — Он не договорил, потому что она вдруг опять повернулась к нему лицом, и его удивило написанное на нем упорство. — А если бы дело дошло до суда, — он рассмеялся, — я считаю маловероятным, чтобы ты с имеющимися у тебя документами могла бы выиграть...

— Я могла бы попытаться разыскать того человека, который принес мне завещание Вилли.

Она покраснела, вспомнив, как повела себя с ним.

— Конечно, — с готовностью подтвердил он. — Однако вряд ли ты сможешь его найти. И кроме того, что ты хочешь от него узнать?

— Название деревни, где был расстрелян Вилли. Вероятно, он там же и похоронен. Кто-нибудь наверняка предал его земле.

— Недурственно, — заметил он. — Совсем недурственно. — Он немного помолчал в раздумье, потом спросил: — Итак, скажи мне, пожалуйста, согласна ли ты покуда отказаться от этой безумной затеи с раздариванием и удовольствоваться двумя тысячами марок в месяц?

— То есть объявить своего рода перемирие? Что ж, пожалуй. Впрочем, — добавила она тише, — если бы я могла сделать то, что хочу, я сейчас влепила бы тебе пощечину...

— Это было бы не совсем по-христиански...

— Знаю, — ответила она и почувствовала, как душившие ее слезы внезапно высохли от внутреннего жара. — Впрочем, не знаю, но полагаю, что многие истинные христиане били по лицу людей вроде тебя и это было воистину по-христиански. Но загвоздка здесь в другом: я плохая христианка, а они были хорошие...

— Совершенно верно, — сказал он. — У тебя бывают гуманные порывы, что правда, то правда, но гуманные порывы не заменяют стихийной страстности истинной веры...

— Вот-вот, — подхватила она и взглянула на него с едва скрытой насмешкой, — ты все можешь объяснить, такие, как ты, все могут

объяснить, но я надеюсь, что наступит время, когда и вас объяснят...

— Прекрасно сказано. Но я полагаю, что и я имею шанс прослыть истинным христианином. Слава Богу, существуют и другие авторитеты, кроме тебя... — Он тихонько засмеялся.

Она опять отвернулась к стене. «Я все-таки ударю его по лицу», — подумала она...

— А почему, собственно, — спросил он и вынул из кармана сигару, — почему, собственно, тебе так хочется меня ударить?

Она промолчала. Он неторопливо раскурил сигару и поискал глазами место, по которому он мог бы побарабанить пальцами. Однако ночной столик был слишком мал, да и заставлен распятием, стаканом воды и тарелкой с хлебными крошками. Он попробовал побарабанить по ручке кресла, но та была слишком узка, и пальцы его соскальзывали. Он почувствовал, что краснеет, он всегда нервничал, если не находил поверхности, по которой можно было побарабанить пальцами...

— Так почему же? — спросил он.

— Потому, что ты ничего не подал нищему. А теперь оставь меня в покое, — устало проронила она. — Ведь я заключила с вами перемирие...

— Однако ты, наверно, не захочешь куда передать нам завещание... То есть я хочу сказать...

Она вдруг резко повернулась к нему; от неожиданности он перепугался, когда она рассмеялась.

— Верно, не захочу, — заявила она. — Ведь этот документ — ничего не стоящая бумажка, так что он для вас бесполезен...

— Ну, мы могли бы отправить его на экспертизу, как-никак он заверен...

— Знаешь, ты бы лучше ушел, — сказала она. — Я очень устала: болезнь не проходит и я не спала ночью.

Он сунул сигару в рот и стал надевать плащ.

— Кстати, как здоровье моей племянницы Элизабет? — спросила она.

Интонация ее голоса заставила его замечать, так что плащ повис на одном плече. Потом он вынул сигару, положил ее на край ночного столика и шагнул к кровати.

— С чего ты взяла, что она больна? — спросил он как можно спокойнее.

— А она больна?

— Да.

— Чем же?

— Очень неудачно упала с велосипеда, у нее сильное внутреннее кровотечение...

— Сильное внутреннее кровотечение, вот как? Это очень опасно в ее состоянии.

— Что значит — «в ее состоянии»? Что ты хочешь этим сказать? — едва слышно переспросил он.

Он весьма редко терял самообладание, особенно при разговоре с женщинами, но сейчас почувствовал, что его лицо дрожит, а руки бесильно обмякли и взмокли от пота.

— Это значит, что Элизабет в положении... была, — спокойно бросила она.

Он торопливо надел плащ, забрал сигару с ночного столика и пробормотал:

— Я в самом деле полагаю, что ты сошла с ума, в самом деле... Неужели ты думаешь?..

Он нетерпеливо дернулся, потому что она опять залилась слезами, а он ненавидел это безудержное выражение душевных переливов.

— Естественно, я так думаю, я думаю, что человек, способный прогнать нищего, способен на все. А теперь иди...

Он быстро вышел из комнаты.

XI

Регина протянула вахтеру пропуск и теперь наблюдала, как его недоверчивая физиономия склонялась над ним: мясистый нос без всякого перехода вклинивался в лоб, а лоб заканчивался восковой лысиной. Потом физиономия оторвалась от пропуска и оказалась прямо перед ней — неожиданно четкая и округлая.

— Комната пятнадцать, операционная, — сказал голос, — направо за углом.

Она пошла направо, миновала запертые больничные палаты, повернула налево и остановилась перед узкой дверью, на которой по растрескавшейся краске красным карандашом было написано: «Операционная». Она постучала, и чей-то голос откликнулся: «Войдите».

В комнате царила тишина. В клубах пара склоненная над стерилизатором монахиня доставала щипцами хирургические инструменты. Доктор устало сидел на стуле и курил. Регина жадно втянула носом запах крепкого табака и впервые ощутила голод как странную смесь тошноты и усталости. Смесь эта подступила к горлу, словно слабый позыв на зевоту, и она не расслышала вопрос доктора.

— Что вам угодно? — повторил он, когда она с трудом справилась с зевотой.

Регина переступила через порог и протянула ему пропуск.

— Ага, вспомнил, — сказал он. — Извините. Вы фройляйн Унгер?

— Да.

Доктор вынул изо рта сигарету, подошел к письменному столу и вытащил из деревянного ящичка с картотекой коричневую карточку.

— Все правильно, — сказал он. — Унгер. Ваша проба крови была превосходная. Анализ не показал ничего плохого. Я пригласил вас сегодня, потому что мы... Ведь вы все еще хотите сдать кровь?

— Конечно, хочу.

— Видите ли, с того раза прошло три недели. — Он пожал плечами и вздохнул. — За это время кое-что изменилось и вполне могло заставить вас отказаться. А вы, значит, все же хотите?

— Да, — проронила она.

— Прекрасно, тогда раздевайтесь. До пояса.

Она сбросила плащ, сняла блузку и положила все вместе на передвижной операционный стол, стоявший рядом.

— Хорошо, хорошо, этого достаточно! — воскликнул доктор.

Она почувствовала, как его сильная рука ощупала ее мускулы, измерила пульс, и слег-

ка вздрогнула, когда холодный фонендоскоп коснулся ее груди.

— Кстати, Унгер, — произнес доктор, устало и задумчиво взглянув на нее, — не вы ли оставили здесь на вешалке свой плащ?

— Да, я.

— И вам его вернули?

— Да.

— Порядочный человек.

— Да, порядочный.

Он вынул из ушей фонендоскоп, кивнул ей и сказал:

— Никаких замечаний. Ваше общее состояние позволяет вас допустить. Можете одеваться. Какая у вас группа крови?

— Нулевая.

— Отлично, вы понадобится уже сегодня утром. Не возражаете? Для фройляйн Фишер! — Это он сказал, обращаясь к монахини. — Как вы считаете?

Надевая блузку, Регина заметила, что белый чепец монахини кивнул.

Доктор посмотрел на нее со своей обычной усталой приветливостью:

— Вам повезло. Господин Фишер пообещал особую награду для донора своей дочери — естественно, помимо обычной платы. Какую сумму он назвал, сестрица?

— Тысячу пятьсот марок, — ответила монахиня. Она прикрыла стерилизатор тяжелой никелированной крышкой и обернулась. —

Полторы тысячи, — повторила она. — Господин Фишер — человек очень богатый.

— В чем-то богач, а в чем-то бедняк! — смеясь, заметил доктор и погасил сигарету.

Монахиня взглянула на него неодобрительно и сокрушенно покачала головой:

— Вам лучше остаться здесь, переливание крови назначено на десять, не так ли?

— Так, — кивнул доктор, — а по мне, можно и сейчас начать. Вы завтракали?

— Нет, — ответила Регина.

— Нельзя ли дать фройляйн немного поесть?

— Нет, — отрезала монахиня. — Это исключено. — Ее огромный чепец энергично закачался.

— Может быть, как небольшой аванс в счет оплаты, а? Будет нехорошо, если ей станет дурно во время переливания.

— Но это в самом деле невозможно, — возразила монахиня. — Уж поверьте мне. Ведь оплата производится в марках, и к тому же не нами, а экономическим управлением, фройляйн получит у нас только справку.

Доктор пожал плечами:

— Тогда, вероятно, лучше взять кровь у молодого человека из палаты «А», он хоть немного поел.

— Нет-нет! — поспешно вмешалась Регина.

Врач и сестра удивленно взглянули на нее.

— В чем дело? — спросил доктор.

— Я непременно хочу это сделать... Я не упаду в обморок...

— Ну что ж, как вам будет угодно. А вы что скажете, сестрица?

Монахиня пожала плечами.

— Тогда, значит, начнем.

Когда монахиня вышла из комнаты, он опять закурил.

— Я бы с удовольствием предложил и вам сигарету, но не знаю... Мне кажется...

— Нет, спасибо, мне станет дурно. Спасибо.

От табачного дыма у нее сразу закружилась голова. Голод вызвал теперь головную боль, тошноту и усталость. Головная боль началась неожиданно — сильная сверлящая боль, причину которой она не могла уяснить. Регина то и дело вздрагивала и прикрывала рукой рот, когда на нее нападала эта судорожная зевота — такая ужасная, что даже уши закладывало. Она устало следила глазами за доктором, который тщательно вымыл руки в фарфоровом тазу, потом погасил сигарету и положил окурочек на стеклянную полочку над тазом.

— Фишер в самом деле очень богатый человек, — сказал он, обернувшись и вытирая руки, — и вполне мог бы выложить какую-то мелочь на завтрак людям, которые сдают кровь для его дочери.

— Чем она больна?

— Этого, к сожалению, я не могу вам сообщить, не имею права. Кстати сказать, ниче-

го приятного. А вы когда-нибудь уже сдавали кровь?

— Нет.

— В таком случае не пугайтесь, придется сделать вам больно, нужно будет вскрыть вену. А вы сожмите зубы, — со вздохом добавил он, — зато получите деньги и еще награду, обещанную отцом больной, даже если... — Он не договорил. — В общем, не бойтесь, все это кажется хуже, чем есть на самом деле.

— А деньги я получу прямо здесь?

— Нет, вам придется поехать за ними к этому Фишеру, потому что... — Он внезапно замолчал, так как в дверь ввезли каталку.

Казалось, на ней приехало только мертвенно-бледное лицо с темными прекрасными волосами, обрамлявшими снежно-белый лоб, и парой узких голубых глаз. Тело же заполняло собой лишь углубление в полотне каталки, так что получалось, будто белая простыня, покрывавшая тело, просто натянута на ее ручки.

— Сюда! — крикнул доктор. Он указал монахиням место рядом с операционным столом и подозвал Регину.

Она встала.

— Ложитесь сюда и обнажите правую руку до плеча.

Она расстегнула манжет правого рукава и, сдвинув тонкую ткань до самого плеча, быстро закатала ее в валик.

— Вот так, — одобрительно сказал доктор. — Все хорошо.

Лежать ей было приятно, головная боль немного утихла, а когда одна из сестер подsunула ей под голову подушку, она почувствовала себя почти хорошо.

— Спасибо, сестрица, — произнесла она.

Ей бросилось в глаза, что на лице доктора появилось тревожное выражение. Углы губ дернулись, а лицо затряслось мелкой дрожью от какого-то внутреннего возбуждения.

— Сжимайте и разжимайте кулак, — командовал он и стал сжимать и разжимать свой кулак, растопыривая пальцы. Она повторила его движение и заметила, что он напряженно смотрит на ее локтевую ямку.

— Замечательно, просто великолепно! — вдруг воскликнул он. — Взгляните, сестрица, как она набухла... Прекрасно, сейчас мы аккумуляторненько в нее войдем. А теперь... — Он подошел к каталке с девушкой и тихим голосом произнес: — Фройляйн Фишер, надо сжимать и разжимать кулак... Вот так.

Он еще раз показал, как это делается, и Регина напряженно всматривалась в серьезные, почти отрешенные лица монахинь и доктора, которые молча наблюдали, как худая бледная рука вяло приподнялась и маленький кулачок начал судорожно сжиматься и разжиматься.

— Спокойнее, — сказал доктор, — еще спокойнее. Вот так.

Он опять начал неторопливо и равномерно сжимать и разжимать кулак, растопыривая сильные ярко-розовые пальцы, а сам внимательно смотрел на предплечье девушки. Потом вздохнул:

— Ничего не видно. Да и неудивительно. Тем не менее начнем. Ждать бессмысленно. Приступаем! Отвернитесь налево, — скомандовал он Регине.

Она послушалась и уперлась глазами в выкрашенную светло-зеленой краской стену, к которой прилипли черные тонкие волоски от кисти — эти отчетливые полосы образовывали какой-то уродливый рисунок. На этой же стене висела Мадонна — большая, чуть ли не метровая фигура из обожженной глины. Мадонна держала сына вертикально и немного впереди себя, так что его непомерно большой венец закрывал ее грудь и видно было только ее лицо. Регина так обессилела, что чувствовала — вот-вот уснет, глаза сами собой закрывались, она с трудом удерживала веки: изображение Богоматери плыло на этом противном зеленом фоне, словно по воде...

Внезапно она дернулась вправо, ощутив укол в руку, и увидела, что доктор воткнул ей в вену плоскую и скошенную, похожую на перышко для письма, иглу на конце резиновой трубочки...

— Сожмите и разожмите кулак.

Она стала сжимать и разжимать пальцы и почувствовала, что немного выше иглы у нее наложен жгут. Она втянула носом опрятный и какой-то обезличенный запах монахини, видимо стоявшей у ее изголовья.

— Быстрее, затяните потуже! — воскликнул доктор, но кровь уже брызнула вверх и осела плотными красными пятнами на грубой ткани его белого халата. — Проклятье! — выругался доктор, но жгут на ее руке уже был затянут совсем туго, и она поняла, что не сможет заснуть.

Регина повернула голову, услышала, что доктор опять скомандовал: «Сожмите и разожмите кулак», увидела, как он воткнул иглу в тонкую белую руку и как ее вытащил, потом опять скомандовал: «Сожмите и разожмите кулак» — и много-много раз втыкал иглу в тонкую руку и вытаскивал ее. Его грубое лицо покрылось каплями пота — красное и мокрое, оно резко контрастировало с мертвенно-бледным лицом монахини, державшей резиновую трубочку и теперь присоединявшей к ней круглую стеклянную колбочку, похожую на маленькие песочные часы...

Она тихонько вскрикнула, когда напор крови, скопившейся в ее руке, внезапно ослаб, и с некоторым интересом стала наблюдать, как наполнялась пустая резиновая трубка и как ее кровь толчками набиралась в стеклянную колбочку — темная пенящаяся жидкость, поступавшая под большим напором...

— Затяните! — скомандовал доктор. И она увидела, как опустился уровень жидкости в стеклянной колбочке, а вторая пустая резиновая трубочка, протянувшаяся к руке незнакомой девушки, стала наполняться ритмичными легкими толчками.

Все это происходило невыносимо медленно, и Регина ощущала глубокую безжалостную усталость, которая улетучивалась всякий раз, когда в ее онемевшую правую руку вновь быстро притекала кровь и, бурно крутясь, скапливалась в стеклянной колбочке вверху...

— Прекрасно, — пробормотал доктор несколько раз, — просто великолепно. — И она увидела на его лице выражение, чрезвычайно удивившее ее, — выражение, которого она никак не могла ожидать: то была радость, подлинная радость. — Прекрасно! — опять произнес доктор. — Великолепно! Только бы она выдержала.

Регина несколько раз пыталась повернуть голову направо так, чтобы увидеть лицо той девушки, но глаза упирались в опрятный синий халат монахини. Потом она опять тихонько вскрикнула, когда трубочку с иглой вытягивали из ее вены...

— Прекрасно, — в который раз сказал доктор, — просто великолепно...

Ей мерещилось что она вращается — сначала медленно, причем ступни ее ног прочно стоя-

ли на одном месте, в центре круга, который описывало ее тело, крутясь все быстрее и быстрее. Это было похоже на то, как в цирке мускулистый атлет вертит вокруг себя стройную красотку, держа ее за ноги.

Поначалу она еще различала зеленоватую стену с красноватым пятном глиняной статуи и на другой стороне зеленый свет, лившийся из окна. Зеленое и белое быстро чередовались перед ее глазами, но потом границы между ними размылись, цвета перемешались, и теперь перед ней вращалось что-то очень светло-зеленое, а может, она сама вращалась перед ним; это было непонятно, пока наконец цвета с дикой скоростью не слились воедино, а сама она не начала вращаться горизонтально в почти бесцветном мерцании света. Одновременно добавились новые боли — в ушах, в животе и в горле. Казалось, что голод, породивший сосущее ощущение в желудке, имел магнетическую силу вызывать все новые и новые боли в ее теле. Она чувствовала себя совершенно больной, бессильной и разбитой и с ужасом поняла, что сознание так и не потеряет.

Лишь когда движение замедлилось, она заметила, что лежит на том же самом месте и вращается только ее голова. Голова даже перемещается, она оказывается то сбоку от ее тела и как бы не имеет к нему никакого отношения, то у ступней ее ног. В какие-то мгновения голова находилась там, где ей и надлежа-

ло быть, то есть на шее. Но в основном голова крутилась вокруг ее тела, но это тоже не могло быть правдой — она попробовала нащупать рукой подбородок и ощутила пальцами его костяную выпуклость. Даже когда голова якобы покоилась у ее ног, она чувствовала, что подбородок у нее на своем месте. Может, то был просто обман зрения, этого она не знала. Зато точно знала, что мучившая ее боль реальна, что она, не теряя остроты, все больше распространяется по всему телу, но уже не подразделяется на боль в голове, животе, горле или ушах. Даже тошнота была реальна как бы химически — она походила на едкую кислоту, которая то подступала к горлу, то медленно опадала, как в барометре.

Закрывать глаза тоже смысла не было: стоило их закрыть, как начинала кружиться не только голова, но и грудь и ноги присоединялись к бешеному кружению глаз. А вот если держать глаза открытыми, она могла сознательно — ведь сознание ее не покинуло — оценить, что сектор обзора перед ее глазами оставался прежним: все тот же кусок стены, выкрашенный светло-зеленой краской с шоколадным бордюром вверху и каким-то изречением, намаляванным темно-зеленой краской прямо на стене, прочесть который она не смогла. Буквы то съеживались, как те микроскопические закорючки на таблицах у глазных врачей, то, наоборот, набухали — отвратительные темно-зе-

ленные сардельки, быстро толстеющие и теряющие форму и смысл, они лопались от толщины, становились неудобочитаемыми, а в следующую секунду опять скукоживались до размеров мушиного помета, но не исчезали. Этот сектор ее обзора оставался все время неизменным: светло-зеленое пространство стены, шоколадный бордюр и эти буквы, то съеживающиеся, то набухающие, и она догадалась, что и голова ее не может кружиться, хоть это ей и кажется...

Она испугалась, когда вдруг обнаружила, что лежит по-прежнему на том же месте, не сдвинувшись ни на сантиметр и совершенно неподвижно. Вокруг все было спокойно и находилось на своем месте. Она увидела свою грудь и грязные туфли из коричневой кожи, потом ее взгляд упал на изречение, начертанное на стене, которое она теперь смогла прочесть: «Твой доктор поможет тебе, если ему поможет БОГ».

— А сейчас начнется безобразие, — услышала она голос доктора. — Она нам тут все облюет.

«Если бы», — подумала она. Но едкая кислота поднималась в горле лишь до определенного уровня, а потом отступала, горло как бы сводило судорогой, сталкивавшей кислоту вниз. А судорога была ей неподвластна.

Боль в голове теперь стала режущей, очень острой и четко очерченной, она словно скон-

центрировалась в одной точке над левой бровью, и эта резь отгоняла усталость, не давая уснуть. А ей так хотелось спать, спать...

Доктор находился вне поля ее зрения, а она не решалась повернуть голову, и в ее бодрствующее сознание вгрызались запах сладковатой сигареты, все еще державшийся в воздухе, и изречение, темно-зелеными буквами по светло-зеленому фону: «Твой доктор поможет тебе, если ему поможет БОГ». Потом она закрыла глаза, и слово БОГ осталось в ней — сначала в виде начертания, трех больших темно-зеленых букв, маячивших в темноте за закрытыми веками. Потом она уже не видела букв, и БОГ находился в ней целиком, в виде слова, которое опустилось в нее и падало все ниже и ниже, оставаясь тем не менее на виду. Оно все падало и падало, не достигая дна, а потом вдруг вновь оказалось наверху, рядом с ней, — не буквы, а слово: БОГ.

Бог, видимо, был единственным, кто не покинул ее во время всех этих болей, которые владели ею безраздельно. Она почувствовала, что начала плакать, горячие слезы катились градом и стекали по лицу. И по тому, как они стекали, не попадая ни на подбородок, ни на шею, она догадалась, что лежит теперь на боку. Усталость пересилила боль, а слезы смягчили ее, и она поняла, что сможет заснуть...

XII

Фишер отдернул занавеску и поставил статую Мадонны на стопку толстых томов так, что свет падал на нее со всех сторон. Он улыбался. Все еще не мог себе простить, что до сих пор ничего не знал о ее существовании. Она годами стояла в церкви, которая находилась в пятнадцати минутах ходьбы от его дома, а он об этом и не подозревал. Правда, она хранилась в ризнице, среди кадилъниц, безвкусных дароносиц в стиле рококо и постных гипсовых статуэток. Эта небольшая Мадонна XV века была восхитительна, ее стоимость трудно себе представить, и обладать ею необычайно приятно. Он мягко улыбнулся, почувствовав себя счастливым, и впервые в жизни подумал, что, вероятно, все же есть реальное зерно подлинной веры в этом почитании Мадонны, которому всегда предавался простой народ. Это странно размягчавшее душу умиленное поклонение до сей поры внушало ему только отвращение, причины которого он не смог бы объяснить...

Статуэтка, стоявшая перед ним и освещенная со всех сторон, дышала восхитительным примитивом чувств своих сочных красно-золотых тонов. Это лицо было воистину целому-

дренным, прекрасным и материнским. Он еще никогда не видел, чтобы эти три свойства совпадали. Но тут они были явственно выражены: это лицо было одновременно целомудренным, прекрасным и материнским. И в то же время оно выдавало душевное страдание, ничуть не противоречившее ни целомудрию, ни красоте, ни материнству. В нем было и страдание, и то триединство свойств, о котором он знал по теологическим трактатам и лоретанской литании, но еще никогда не видел воочию.

В этот момент — хотя он был отнюдь не склонен к преувеличениям чувств — она показала ему самым прекрасным из всех его многочисленных сокровищ искусства, этот изрезанный и раскрашенный кусок липовой древесины, размером едва ли больше хорошего словаря; он вытащил ее из всякой рухляди в ризнице: великолепные сочные красные и золотые краски были немного потерты. Он медленно обошел вокруг письменного стола, чтобы разглядеть фигурку поподробнее и со всех сторон; ему не удалось обнаружить у нее ни единого недостатка, в манере мастера не было никаких следов взвинченности или экзальтации — ни в естественной прелести ее облика, ни в складках ее плаща, ни в изгибе рук или в склоненной шее. И поразительное сочетание смирения и гордости в посадке головы этой необычайно красивой женщины, выражавшей парадоксальное триединство, теперь

впервые не казалось ему парадоксальным. Даже дитя у нее на руках нравилось, хотя вообще-то он испытывал неприязнь к любым изображениям младенца Иисуса: все они были большей частью неудачными — либо слишком сладкими, либо слишком грубыми, — точно так же, как живые дети: те тоже казались ему либо слишком сладкими, либо слишком грубыми, пошлыми, бестактными.

Фишер подошел поближе и стал пристально разглядывать дитя на руках у Богоматери, оно было меньше указательного пальца. Теперь он почувствовал легкое недовольство: ему не нравились скульпторы, которые даже и в таких маленьких статуэтках придавали младенцам естественные пропорции тела, — они всегда напоминали ему эмбрион.

Поджав губы, Фишер подтащил свое кресло поближе, чтобы сесть; он почувствовал, что побледнел, и черед счастливых и радостных, почти религиозных мыслей резко прервалась. Им вновь овладело прежнее настроение: смесь скуки и отвращения. Взгляд его по-прежнему покоился на маленькой фигурке, но он уже не видел ее...

Фишер вздрогнул, когда раздался стук в дверь, торопливо убрал статуэтку со стола и поставил ее на верхнюю полку книжного стеллажа позади ряда огромных томов, где ее совсем не было видно...

— Войдите! — крикнул он.

Увидев своего секретаря с гранками в руке, он сразу же заскучал — на него вновь напало безмерно приглушенное отчаяние с примесью безмерно приглушенной горечи.

— Пришли гранки, господин доктор, — сказал молодой человек. — Для первого номера «Агнца Божия», только что прибыли.

Молодой человек выжидательно смотрел на него — бледный тщедушный юноша, выглядевший смиренным и в то же время интеллектуальным — сочетание, которое он вообще-то любил, но которое сегодня показалось ему отвратительным.

— Спасибо, — процедил Фишер. Потом взял шершавые листы и добавил: — Все в порядке.

По тому, как молодой человек ссутулился и втянул голову в плечи, он понял, что тот обиделся.

«Ничего не скажешь, — подумал он, когда секретарь вышел, — этот первый номер «Агнца» и впрямь большой успех: нехватка бумаги, трудности с получением лицензии, отчаянные поиски авторов и действующей типографии в этом городе, казавшемся вымершим, — все это удалось преодолеть за шесть недель с самоотверженной помощью этого молодого человека. На это же время пришелся и безумный день капитуляции, который принес новые политические трудности. И, несмотря на все это,

нам удалось выпустить первый номер «Агнца Божьего».

Фишер уныло взял в руки гранки и пролистал их без всякого интереса. Ну, это все дело секретаря, пусть тот прочтет корректуру и распорядится насчет верстки. Он отложил гранки в сторону, оставив в руке только титульный лист: на нем была изображена страшно безвкусная виньетка, уже в течение полувека украшавшая заголовок журнала. Во всех библиотеках и во всех книжных шкафах католических семейств можно было ее увидеть. Кипы томов «Агнца» вываливались из папок, пылились на шкафах и в кладовках — миллионы экземпляров с этой виньеткой. Поистине омерзительный рисунок: почти наголо стриженный ягненок с усталым выражением морды и смиренно опущенным хвостиком, на шее которого красовался вымпел с крестом.

«Его преосвященство господин кардинал просит вас принять в подарок эту маленькую статуэтку, поскольку вам удалось вопреки всем трудностям вновь... поставить на ноги «Агнца Божьего», — сказал ему настоятель собора. — Мы ожидаем большого успеха от этой первой после войны попытки издать религиозный журнал...»

Тут Фишер отложил в сторону и титульный лист: ему только теперь пришло в голову, что он был вознагражден миниатюрным сокрови-

шем за то, что ему удалось объединить под этой виньеткой и напечатать несколько слабых статей. Но ирония, заключающаяся в этом факте, не доставила ему никакого удовольствия. Он устал, скука и отчаяние, по-видимому, слились воедино еще прочнее — получился вялый бесконечный поток, горечи которого явно не хватало, чтобы сделать его возбуждающим...

Зазвонил телефон. Он снял трубку и назвал себя.

— Больница «Милосердных Сестер», — сказал голос в трубке.

— Да, что случилось? — спросил Фишер, сразу встревожившись.

— Все хорошо, — сказал тот же незнакомый голос. — Состояние вашей дочери удовлетворительное. Ей намного лучше. Доктор Вайнер провел переливание крови, и вполне удачно. До сегодняшнего вечера должно выясниться, надолго ли это улучшение.

— Спасибо, сестра! — крикнул он в трубку. — Большое спасибо! Позволю себе нынче же вечером появиться у вас. Пожалуйста, передайте привет моей дочери.

— Прекрасно. Вы назначили премию для женщины-донора. Можно прислать ее к вам?

— Естественно, — воскликнул он, — само собой разумеется! Я буду рад вручить ей эту небольшую сумму в знак признательности. Вы хотите еще что-то сказать?

— Нет. Значит, до вечера.

— До свидания, — произнес он и положил трубку...

Короткий миг радости миновал, как только он положил трубку и услышал тихий металлический щелчок рычага. И вновь на него навалилось это ощущение — словно он стоял по шею в огромном, бесконечном водоеме, чья тепловатая вода подступала ко рту: скука, отвращение и крошечная примесь удовольствия...

Во время войны выпадали минуты, когда жизнь была для него почти прекрасной, — по крайней мере, тогда существовали опасность и угроза, ежедневная угроза, которая была тем прекрасней, чем надежней были средства защиты: солидное бомбоубежище, деньги, всевозможные запасы и уверенность, что в политическом отношении он всегда будет чист, что бы ни случилось. Само собой разумеется, он был в партии, даже имел несколько встреч с видными нацистами, — кстати, они показались ему в каком-то смысле «настоящими парнями». Но в то же время у него имелось довольно пространное секретное письмо архиепископа о том, что он, Фишер, вступил в партию по его указанию, можно сказать, под его давлением, как бы для выполнения некоей религиозной миссии...

С тех пор как война кончилась, все у него шло как по маслу до такой степени, что стало

даже противно: зарабатывать деньги было так легко, что его охватывало омерзение всякий раз, как он вынимал пачки денег из сейфа, пересчитывал и опять запирал. Было бы просто смешно открыть счет в каком-либо банке и тем самым попасть под контроль: половина мансарды, заваленная предметами искусства, которые он убрал с глаз долой, потому что они ему разонравились, принесла ему больше денег, чем он получил бы в прежние времена за продажу двух имений...

«Раньше, — подумал он, раскуривая сигару и вновь не глядя листая гранки «Агнца», — раньше многое доставляло радость: например, читать Гете, излагать письменно мысли о прочитанном, филигранно отделявать записи и потом видеть их напечатанными. Или основать какой-нибудь религиозный журнал, следить за его становлением и развитием, даже если впоследствии приходилось отдавать его в руки вялых и бездарных церковных властителей. Теперь ничто не интересует...»

Фишер вертел сигару и предавался воспоминаниям. Он рассматривал их, как рассматривают фотографии чужой и тоскливой жизни. Они заполняли бесконечные пустоты — целый ящик картинок, не имевших к нему никакого отношения, но на которые он тем не менее был обязан смотреть. Перед ним разворачивалась бесконечная череда долгих вечеров, заполненных ощущением тяжести в же-

лудке и бренчанием на рояле начинающей пианистки, обреченной вечно барахтаться на уровне посредственности.

И только мысль о жене и вызванная ею ненависть на несколько минут будоражила его воображение и оживляла, но только на несколько минут, ибо и к ней он испытывал жалость, к этой красавице с профилем итальянской княгини...

Скука, отвращение и совсем немного радости: легкий зуд в пальцах, вызываемый пачкой банкнот. О чем бы он ни вспоминал, скука всегда оказывалась основой его душевных состояний, она главенствовала во всем, в то время как ее примеси: удовольствие, пресыщенность, отвращение, жалость — становились несущественными под гнетом ее свинцовой тяжести...

На миг ему вспомнилась Мадонна, но одновременно с ней в памяти всплыло и слово «эмбрион» — слово, которое распугало все остальные и одно засело в мозгу: уродливое, вызывающее не скуку или пресыщенность, а страх. Оно казалось ему каким-то тайным знаком, шифром, заимствованным из чужого языка и используемым, чтобы передать целый комплекс понятий, столь же таинственных, сколь и омерзительных, — это была словно стенограмма ужаса, который охватывал бы его и не отпускал всякий раз, как он вспомнит о Мадонне — о любой или именно этой. Мадонна будет в его восприятии навечно связа-

на с эмбрионом — прекрасное слово с отвратительным, словно зеркальные отражения друг друга...

Ему пришло в голову, что надо приготовить полторы тысячи марок, и он поднялся с кресла. Отперев сейф, он оставил тяжелую дверцу открытой и вытащил из пачек десять банкнот по пятьдесят марок, двадцать пять — по двадцать и пятьдесят по десять...

Потом вернулся к письменному столу, положил деньги в один из ящиков и, когда его запирал, обратил внимание на то, что деньги — вопреки известной пословице — все-таки пахнут. Причем довольно сильно, он чувствовал этот запах каждый раз, когда открывал сейф: сладковатая слабая марь, смесь приторности и гнили, безликая и разносторонняя, слабая и поразительно въедливая. Когда он открывал дверцу, на него всегда выплывало густое сладковатое облако запахов — та смесь приторности и гнили, которая связывалась у него с понятием «бордель». Но тут он догадался, что то был запах крови — почти выдохшийся и облагороженный...

Он ощутил некоторое облегчение, когда вспомнил о невестке: ее имя, весь ее облик вызвали в нем волну странной нежности, хотя он сам не понимал и не мог объяснить, с чего бы это вдруг. Но факт остается фактом: он исполнился слегка ироничной веселостью, хотя и

был зол на нее из-за того, что она разгадала и его последнюю тайну с такой же легкостью, как бы играючи, с какой она всегда обо всем догадывалась...

Во всяком случае, он счел достаточно оригинальным тот факт, что она перевернула с ног на голову требование момента: вместо того чтобы вкладывать деньги в вещи, она превращала вещи в деньги и раздавала их. Она продавала семейные драгоценности, извлекала деньги из доходных домов, снимала их со счетов, сбывала картины и мебель на черном рынке и занималась новым видом гуманитарного спорта, раздавая талоны на хлеб.

Эта истеричная манера казалась ему смехотворной, но в то же время Элизабет импонировала ему независимостью жизненной позиции, к тому же обладавшей чертами подлинной оригинальности: невестка была упряма, и в глубине души он был рад, что она объявила войну и ему, и свекру...

Она сказала: «Перемирие»...

Дело приняло бы опасный оборот, если бы ей удалось разыскать того солдата, который доставил завешание Вилли: тело Вилли можно было бы эксгумировать, идентифицировать, и в ту же минуту, когда его смерть будет официально подтверждена, завешание Вилли будет иметь законную силу, покуда не докажешь, что печать воинской части или фамилия офицера фальшивые...

Он постучал авторучкой по стеклянному абажуру настольной лампы, чтобы вызвать секретаря, и, когда бледный и смиренный юноша появился в дверях, приветливо сказал ему:

— Извините меня, Виндек, я просто был погружен в свои мысли. На самом деле я конечно же рад, что выходит в свет первый номер «Агнца Божьего», результат наших совместных усилий. Не думайте, что я недооцениваю ваши заслуги. Не хотите ли сигару?

Секретарь обрадованно улыбнулся, взял сигару из придвинутого к нему ящичка и тихо промолвил:

— Спасибо, господин доктор...

— Возьмите еще одну...

Тот взял еще одну.

— Кстати, сейчас придет женщина, которая дала свою кровь моей дочери. Вручите ей по справке из больницы эти деньги — здесь полторы тысячи марок — и возьмите расписку в получении...

— Слушаюсь, — отвечивал секретарь.

Он уже не увидел, что его хозяин отложил горящую сигару и подпер голову ладонями...

XIII

Высокая серая боковая стена церкви была взорвана посередине, и между двумя опорами зияла широкая и высокая дыра, сквозь которую светло-серый дневной свет проходил внутрь, как сквозь огромные ворота. Словно после взрыва скалы внизу валялись громадные глыбы камня. Вокруг высились кучи щебня, но ближе к входу Ганс обнаружил следы расчистки завала и зашагал туда между кучами по гладким белым изразцовым плиткам. Толкнув дощатую дверь, ведущую в пустоту, он испугался: грубо сколоченная дверь была лишь прислонена к проему в стене. От его прикосновения она повернулась и упала на него. Он с трудом ее подхватил и опять прислонил к стене. Внутри развалин было тихо, по бывшему нефу церкви летали птицы — он услышал их щебет. Откуда-то донесся писк птенцов, и взгляд его тотчас упал на выщербленную люстру, все еще висевшую на цепи, укрепленной в толще свода. Цепь эта раскачивалась, тихонько поскрипывая, и он увидел двух жирных воробьев, прыгавших по металлическому ободу. Они вспорхнули, когда он двинулся дальше вглубь. От щебня было расчищено лишь

небольшое пространство возле двери, а дальше ему пришлось карабкаться по глыбам камня, и когда он добрался до центрального нефа и взглянул вверх, то увидел, что из огромной трещины в боковой стене свет падает прямо на то, что осталось от фигур святых: все они свалились вниз, их пьедесталы либо совсем опустели, либо на них уцелели лишь уродливые и вжатые в стену обрубки: где две ноги до колен, а где одинокая рука без кисти, прочно прикрепленная к своду. Широкая черная зубчатая трещина с самого верха донизу четко вырисовывалась на стене, словно тень какой-то лестницы. Наверху, в сводчатом потолке, небо виделось как резко очерченный зубцами клочок чего-то серого, и тут он заметил вторую глубокую трещину, доходившую, постепенно сужаясь, до огромного пролома в боковой стене, наполненного светом дня. У пролома трещина опять расширялась, и он мог точно определить толщину стены, которая увеличивалась начиная от свода и достигала у земли ширины обычной двери. Но взгляд его не мог оторваться от зрелища, открывавшегося внизу: алтарь был завален щебнем, ряды лавок на хорах перевернуты взрывной волной, широкие темно-бурые задние стены наклонены, словно в издевательской молитвенной позе. Нижнему ряду святых на колоннах тоже был причинен заметный ущерб: исцарапанные и искромсанные каменные торсы, уродливые в своем уве-

чье и искаженные от боли, словно некогда живые. Ему бросилось в глаза их дьявольское уродство — некоторые лица ухмылялись, как обезумевшие, потому что у них не хватало одного уха или же подбородка или потому что лица их искажали трещины. Некоторые изваяния лишились головы, и каменные шеи жутко и одиноко торчали над туловищами. Ужасающий вид имели и те статуи, у которых не было рук, — чудилось, будто они истекают кровью, молча взывая о помощи, а одна барочная гипсовая фигура раскололась так странно, словно имела лишь твердую оболочку, как яйцо: бледное лицо святого уцелело — узкое печальное лицо иезуита, — но грудь и живот были разодраны, гипс раскрошился и валялся белыми песчинками у ступней фигуры, а из темной дыры живота торчала солома вперемешку с затвердевшим гипсом.

Он пробирался дальше, мимо скамьи для причастия, в левую из двух апсид. Фрески уцелели и были хорошо освещены дневным светом. Удивительно блеклые и в то же время сияющие краски одной старинной фрески изображали поклонение трех царей. Сияющие, даже несмотря на блеклость, краски, местами лишь слегка подкрашенный рисунок... В целом фреска произвела на него отрадное впечатление, потому что осталась цела. Боковой алтарь рядом тоже был цел и даже как будто прибран: алтарная доска блестела чистотой,

а перед каменной дароносицей стоял букет цветов. Когда он осмотрелся и заглянул в боковой придел, то увидел, что темные исповедальни были слегка наклонены вперед, их грубо сколоченные ящики покрыты пылью и кусками штукатурки, а вдалеке, в конце ряда низких колонн, он увидел горящую свечу, которую раньше не заметил, и пошел к ней. Свеча горела перед статуей Богоматери, а рядом с ней висело большое деревянное распятие, которое раньше свешивалось со свода перед люстрой...

Ганс смахнул куски штукатурки и мусор с одной из скамеек и сел. Когда он в последний раз был в церкви, еще шла война, и теперь ему казалось, что это было ужасно давно, хотя с той поры прошел всего месяц. Свеча спокойно мерцала перед статуей, деревянный остов которой слегка покособился от сырости. Краска местами уже облетела, и по лицу Девы Марии пролегли светлые полосы. Только цветы были свежи и прекрасны — великолепные гвоздики на длинных стеблях с крупными венчиками в упругих корбочках...

Он попробовал было молиться, но в ту же секунду его охватил страх: снизу, откуда-то из-под земли, донеслось пение. Страх его быстро прошел, потому что сразу вспомнилось про склеп под алтарем — он, вероятно, уцелел. Ганс прислушался к пению: голоса звучали слабо, приглушенно, по-ангельски чисто, по-

ющих было, по-видимому, совсем немного, и пели они без аккомпанеента. А когда он узнал и текст песнопения, и мелодию, то вспомнил, что на дворе был май, все еще май — тот месяц, в который закончилась война...

По голосам поющих чувствовалось, что пели они с радостью: за первой строфой следовала вторая, за второй — третья, и он пожалел, что пение вдруг умолкло. Стало тихо, и эта тишина придавила, пригнула его: ему так хотелось, чтобы они продолжали петь.

Ганс вдруг перепугался: зияющие трещины показались ему угрожающими, ему померещилось, что они могут раздаться вширь, и тогда своды рухнут и похоронят его вместе с этими изуродованными статуями. Он сразу взмок: свод в самом деле как будто накренился. Он вскочил, торопливо перекрестился и побежал к двери, а потом по изразцовым плиткам к тяжелой железной ограде...

С другой стороны клироса слышались голоса; выходявшие из церкви люди смеялись и разговаривали друг с другом. Потом он их увидел: небольшая, быстро рассеявшаяся группа серых силуэтов, от которой осталась только черная фигура священника...

Ганс опустил на каменный цоколь решетчатой ограды и стал ждать. Он знал, что дома священников расположены за его спиной, и только что обнаружил, что в них живут люди. Хотя он уже почти не чувствовал голода —

оставалось лишь сосущее ощущение в животе и легкое головокружение, — он решил чего-нибудь попросить у священника: хлеба, картофеля или сигарету. Он видел, что тот приближается, при взгляде снизу священник казался высоким, полы черной рясы развевались вокруг его ног, а вот и его ботинки — огромные, стоптанные и бесформенные...

Священник перепугался, когда перед ним вдруг выросла какая-то фигура, его худощавое и в то же время одутловатое лицо нервно дернулось, и он судорожно вцепился в толстый Псалтирь.

— Извините, — обратился к нему Ганс, — не можете ли дать мне какой-нибудь еды?

Его взгляд, скользнув над покатыми плечами священника и мимо его головы, упал на площадь перед церковью: цветущие старые деревья, стволы которых до половины были засыпаны обломками...

— Конечно, могу, — услышал он слова священника. Голос у того был хриплый и слабый, и Ганс только теперь поднял на него взгляд: обычное крестьянское лицо, худощавое и крепкое, крупный нос и удивительно красивые глаза. — Конечно, могу, — повторил он, — вы хотите подождать здесь?

— Да. — Ганс тут же опять сел: он был изумлен. Ведь он обратился с просьбой только потому, что надеялся: священник должен хотя бы попытаться ему помочь. Но что может

найтись такой, кто сразу согласится дать ему еды, очень его удивило...

Он проводил взглядом священника, пересекавшего улицу и помахавшего ему рукой уже у порога дома...

Перспектива получить какую-нибудь еду опять возродила чувство голода. Голод, эта зияющая пустота, сводившая челюсти судорожной зевотой, этот воздушный пузырь, эта непоборимая отрыжка, вызывавшая отвратительный вкус во рту и наполнявшая душу безысходностью... «Еда, — подумал он, — это неотвратимая необходимость, которая будет преследовать меня всю жизнь. Еще тридцать, а то и все сорок лет мне придется хотя бы раз в день есть, и я буду вынужден каким-то образом обеспечивать себе тысячи трапез...»

Эта безнадежная череда необходимых поступков наполнила его ужасом. В тот день он уже девять часов кряду понапрасну бродил по разрушенному городу и так ничего и не получил, даже того, что ему было обещано. Выходит, эту мучительную борьбу ему придется вести еще много тысяч раз, и не только ради самого себя. Тут он впервые вспомнил о Регине, и весь ее облик внезапно и четко возник перед его мысленным взором, невыносимо прекрасный и неотразимый: ее светлые волосы и бледное лицо с легкой усмешкой, возникавшее в темном провале двери, чтобы спросить: «Хочешь немного хлеба?» Или: «Хочешь

сигарету?» Его вдруг потянуло к ней, совершенно неожиданно и с такой пронзительной силой, что он сразу представил себе, как поцелует ее...

Улыбка на лице священника показалась ему неземной, почти такой же нереальной, как чистое и звонкое пение, донесшееся к нему из склепа под алтарем. Когда он почувствовал, что его кто-то потянул за руку и повел за собой, его охватила такая слабость, что он даже зашатался, следуя за поспешно шагавшим священником. Они обошли кругом клироса — эта дуга показалась ему бесконечной — и спустились вниз по лестнице. Он ощутил прохладу толстых каменных стен и вздрогнул от неожиданности, когда священник приложил к его руке пальцы, смоченные святой водой...

— Вы католик? — спросил священник, когда Ганс перекрестился.

— Да, — ответил он. — Меня крестили в этой церкви.

— Этого не может быть.

Они остановились на пороге.

— Нет, это правда.

— Боже мой, так вы, значит...

— Да, — выдохнул он. — Это была моя приходская церковь, пока я не ушел на войну.

В памяти его промелькнули те давние воскресенья, которые он провел вместе с матерью

в полумраке этого благостного романского храма...

— А теперь? — спросил священник.

— Теперь я живу почти за городом, в предместье...

— Пойдемте.

Он последовал за священником в темный зал со сводчатым потолком, где тесными рядами стояли скамьи. Дневной свет проникал сюда с трудом, впереди мерцал крошечный красноватый огонек неугасимой лампы перед дароносицей. Священник дал ему знак следовать за ним в ризницу, и Ганс лишь склонил голову перед алтарем — не было сил преклонить колена. Внутри ризницы было светлее — горела электрическая лампочка, и на усталом крестьянском лице священника улыбка казалась гримасой боли...

— Вы доставили мне радость, — сказал священник.

Он жестом предложил Гансу сесть на темно-коричневую скамью перед низеньким шкафом, занавеска на котором была отдернута. Ганс увидел внутри разноцветные рясы мальчиков-хористов и длинные белые кружевные накидки священников. Все это казалось покрытым тонким слоем пыли.

— Да-да, — поспешно подтвердил священник, и его усталое лицо даже преобразилось от восторга. — Именно так оно и есть: вы доставили мне радость.

Он распахнул какую-то дверь и сдвинул в сторону несколько рулонов пыльных рисунков.

— У меня нынче еще никто ничего не просил, и здесь пока есть два пакета с утренними пожертвованиями. Давайте на них взглянем.

Его черные рукава взлетели в воздух у самого лица Ганса, и на столе появились два свертка в коричневой бумаге, а священник сказал:

— Возьмите все это и помните: этот дар — не от меня и не меня вы должны благодарить...

— А кого же?

— Господа нашего. Каких-то неизвестных нам обоим людей... — Его лицо слегка порозовело от смущения. — Пожалуй, можно сказать — живую церковь... — Глаза его сузились от волнения. — Может, святых людей, а может, и грешников — почему знать? Бедняков, а может, даже и богачей...

Ганс взял свертки и попытался снять бечевки, которыми они были перевязаны. Но пальцы его не слушались, он почувствовал, что на него внезапно навалилась ужасная слабость.

— Не могу, — сказал он. — Пожалуйста, сделайте это сами.

Широкая рука священника потянула за кончик бечевки, аккуратно сняла ее со свертка и обнажила содержимое: по столу покатилося маленькое сморщенное яблочко, за ним показался толстый ломоть хлеба, очень тол-

стый, не тоныше молитвенника, лежавшего рядом с ним на столе, затем — сигарета, завернутая в папиросную бумагу, и пара армейских носков, тщательно выстиранных и заштопанных. Светящиеся белые ломти поплыли по комнате...

— Вот и все, — обронил священник. — Берите же.

Ганс попытался было взять в руки ломоть хлеба, но не сумел: он показался ему слишком огромным. Коричневая круглая корочка окружала его, словно крепостной вал, и казалось бессмысленным протягивать к нему руки — они были слишком малы. Сигарета лежала на гладкой столешнице, точно громадный рулон белой бумаги, — она смахивала на рекламную сигарету, скатившуюся сюда с высокого фронтона, и была слишком велика для него — его руки, лежавшие на столе, казались совсем маленькими, очень грязными и далекими. Далеким показался ему и голос, который сказал:

— Выпейте это.

Он почувствовал, что в него влилась какая-то жидкость, приятная, прохладная и в то же время распространяющая тепло по всему телу, чудесный напиток, вкус которого показался ему знакомым, но название забылось. Он ощутил прикосновение языка к влажным губам и глотнул еще, вновь почувствовав, как в него вливается необычайно приятное и прохладное

тепло, и внезапно вспомнил: это было вино...
Да, вино.

Лежавшие на столе вещи опять обрели свои подлинные размеры — толстый ломоть хлеба размером с молитвенник, яблоко, сигарета, пара носков. В его руки вернулись жизнь и сила, а в глаза — способность видеть; прямо перед собой, очень близко, он обнаружил озадаченное лицо священника — серое, усталое, с красноватыми мешками под глазами. Потом Ганс заметил и стакан, взял его и отхлебнул немного.

«Вино!» — пронеслось у него в голове, и он в испуге оторвал стакан ото рта, поставил его на стол и посмотрел в глаза священнику.

— Не бойтесь! — с улыбкой заметил тот. — Бояться тут нечего. Ведь это просто вино... Хотите еще?

— Если вы полагаете...

— Почему бы и нет. Это же вино.

Ганс сделал большой глоток и стал смотреть, как священник разворачивает второй сверток. Из него выпал четырехугольный головной платок, которым была обернута банкнота. Глаза Ганса вновь видели все так ясно, что он разглядел цифру 50 и желтые полосы на платке...

— Разве у вас так много вина? Я имею в виду церковное вино...

— О да, — перебил священник, — не беспокойтесь. На несколько лет хватит. — Он по-

ложил содержимое свертка на стол. — Ведь и нужно-то каждому всего один-два глотка, а мы спасли весь наш запас. Кроме того, уже появилось и новое. Есть ли у вас жена? — с улыбкой спросил он, разворачивая платок и любуясь тонкой пестрой тканью.

Ганс, немного замявшись, проронил:

— Да.

Возникла довольно мучительная пауза, во время которой священник складывал платок. Ганс поставил стакан на стол. Он пристально взглянул на священника, и его вдруг охватило жгучее желание оказаться подле Регины.

— Так я пойду, — с трудом сказал Ганс. — Простите меня... — Он взял со стола свертки и пробормотал: — В общем, я... Надеюсь, мы еще увидимся.

— Я тоже очень надеюсь. Познакомьте меня с женой. Погодите-ка...

Священник направился в угол ризницы, медленно вынул ключ из кармана и отпер дверцу большого покрытого пылью шкафа. А вернувшись, протянул Гансу бутылку красновато мерцающего вина:

— Сам-то я ничего вам пока не подарил... Вот, возьмите хотя бы это...

— Эта бутылка действительно ваша?

Священник рассмеялся:

— Не совсем. Я ее, скажем так, спас из подвала одного горящего дома, а владелец дома

потом подарил ее мне. Сдается, я могу считать ее своей. До свидания.

Ганс еще немного постоял на пороге, глядя, как священник запирает дверцы шкафа.

— Не ждите меня! — крикнул он Гансу. — Я побуду здесь еще немного...

И Ганс ушел. Он склонил голову перед алтарем, а выйдя наружу и попытавшись идти быстрее, почувствовал, как холодная бутылка в кармане штанов ощутимо бьет его по бедру.

XIV

Вдруг он услышал, что она пришла. Походка ее была усталой, она даже немного постояла в прихожей. Потом, видимо, сняла пальто и, не зажигая света, повесила его на вешалку. Теперь ее шаги приближались к его двери, и он почувствовал, как забилося сердце — очень сильно, но ровно. Потом она остановилась прямо у двери. Ему ужасно захотелось увидеть сейчас ее лицо. Он ждал, что она войдет и посмотрит, все ли с ним в порядке, но ее шаги вновь удалились, и он услышал, что она прошла на кухню...

Ему захотелось встать, как только она вошла в квартиру, но он не смог. Охватившая его радость как бы парализовала все его члены. Он лежал, вытянувшись во весь рост, и чувствовал только, как бьется сердце...

Вскоре она вышла в прихожую и принялась рубить дрова. Он все это очень ясно себе представил: вот она торчком ставит на пол напильные чурбаки и в темноте обрушивает на них топор, не раскалывая, а лишь отламывая от них тоненькие щепки. «Пусть бы хоть не держала чурбак рукой, не то попадет себе по пальцам», — подумал он. Топор был тупой, это

он знал, но она могла отрубить или сильно поранить себе палец. Он услышал, как она начала тихонько ругаться. Иногда она промахивалась, и тяжелый топор ударял по половицам, что вызывало легкое подрагивание стен и пола. Потом она, видимо, сочла, что щепок достаточно, швырнула топор в угол и вернулась на кухню...

После этого в квартире стало совсем тихо и почти совсем темно, тени в комнате были синие — словно дым из труб. Они сгустились по углам, и Ганс уже различал только то, что находилось подле его кровати, — все это было грязным, стены шербатые, и он впервые заметил, что в потолке зияла настоящая дыра.

Он поднялся, тихонько подошел к двери и осторожно открыл ее. Свет в прихожую падал из кухни. Старое синее пальто, которое она повесила на крюк над дверным стеклом, пропускало сквозь дыры большие желтые пятна света, и лучи его падали на грязные половицы: где-то в углу поблескивало лезвие топора и он заметил темные чурбаки со светлыми желтоватыми срезами. Он медленно подошел поближе и увидел ее. Ему пришло в голову, что такой он ее еще никогда не видел. Она лежала на диване, подтянув ноги и обернув колени красноватым одеялом, и читала. Он видел ее сзади, ее длинные, влажно блестящие волосы казались более темными и рыжеватыми. Они как бы струились по валику дивана. Рядом с ней стоял торшер.

Печка топилась. На столе лежали пачка сигарет, початая буханка хлеба и нож с черной шатающейся ручкой. Рядом стояла банка консервированного повидла...

И вдруг он понял, что ему суждено видеть ее всю жизнь. Это понимание снизошло на него как видение, он легко представил ее себе в старости — все еще стройную, но с седыми волосами и круглым, чуть насмешливым лицом. Видение это задело его глубоко и болезненно, он ощутил его как нечто безжалостное, словно кто-то плеснул холодной воды на некое тайное место в его душе. Ощущение было похоже на то, какое бывает, когда сидишь в кресле у зубного врача, а тот брызнет тебе в рассверленный зуб чем-то холодным: тебе и приятно, и страшновато. Ему показалось, что он видел ее такой много-много лет назад и будет видеть двадцать лет спустя вновь и вновь. Ведь он встал со смертного одра и сделал нечто необратимое, нечто, чего нельзя отменить или исправить: он решился жить дальше, и теперь жизнь навалилась на него здесь — короткий миг бесконечности, полный боли и счастья...

Она курила сигарету с мундштуком, который, по всей видимости, не вынимала изо рта: время от времени она оборачивалась и по-птичьи наклоняла голову, стряхивая пепел. Он видел ее четкий и одновременно очень нежный

профиль, и его вновь охватило желание ее поцеловать. Но с места не сдвинулся, отчетливо понимая, что будет означать, если он войдет в кухню. Ему придется жить дальше, возложить на свои плечи бесконечную череду дней, от которых не откупишься несколькими поцелуями, придется вскарабкаться на плато повседневности, на эту трибуну подпольной торговли, работы или воровства, в то время как он надеялся, что сможет подремать под трибуной, лежа в тенечке под топот активных участников игры...

Он знал, что еще не поздно было исчезнуть, тихонько спуститься по лестнице и уйти в ночь. Вероятно, она даже не слишком огорчится, она наверняка уже не рассчитывала на то, что он вернется...

Ганс не почувствовал, что улыбается. Ему казалось, что он видит ее впервые: на нем все еще был ее плащ, он носил его, потому что мундира у него уже не было. От плаща исходил ее запах. Было очень тихо. Она медленно переворачивала страницы, потом отложила в сторону мундштук, и он заметил, что она поставила себе на живот чашку. Огонь в печке разгорелся сильнее. Гансу было слышно, как он фыркает, а наверху, в развалинах дома, завывал ветер; там, по дырявой крыше и в разрушенных комнатах здания, ветер гонял осколки камней и куски штукатурки, и они с грохотом падали в кучи разного мусора.

Она переставила чашку на стул и продолжала читать. Читала она очень медленно, он начал уже терять терпение и, наблюдая за ней, вдруг вспомнил, что некогда продавал в магазине книги и у него была другая женщина, работавшая там же. Иногда они вместе ходили в кино или он провожал ее до дому после занятий на курсах. Все это было теперь так бесконечно далеко, в другой жизни, он не мог себе даже представить, что когда-то принимал все-речь эти курсы и свою профессию. Помнилась только жгучая сковывающая робость, охватывавшая его, когда он провожал домой свою будущую жену: его душа жаждала нежности, а он осенним вечером не решался даже взять ее под руку на освещенных улицах города. Иногда им приходилось идти темными переулками, и на ярко освещенной остановке они садились в вагон и все время говорили о книгах, фильмах и докладах, которые вместе прослушали. Она была маленького роста и неприметной наружности, ни хорошенькая, ни элегантная, а между стволами деревьев проглядывал мягкий свет газовых фонарей — желтый, дробящийся, текучий, почти жидкий, а между светом и деревьями, их серыми смутными очертаниями, туман клубился длинными плотными клочьями и медленно расползался, чуть ли не куясь, подобно огню, лишенному доступа воздуха... Потом он шагнул домой вдоль реки, очень медленно, почти по гранитной кромке, венчающей

плотину, и рядом с ним плескалась невидимая в тумане вода, и шум ее был спокойный и ровный, а он бросал окурки в туман, стараясь швырнуть как можно дальше, и они с шипением гасли где-то там во мраке...

Она все еще лежала неподвижно, только один раз подтянула одеяло повыше и подоткнула его поплотнее, и этот девичий нетерпеливый жест показался ему новым и необыкновенным...

Внезапно он вошел, не постучав, направился прямо к ней и поцеловал ее в губы. Он ощутил вкус ее мягких, слегка влажных губ и увидел, что глаза ее оставались открытыми: они были темно-серые, мерцающие и слегка раскосые, а в рывком распахивающихся сиреневых веках было что-то кукольное. Он смотрел ей в глаза, не отрываясь от ее рта, а рукой обхватив затылок и ощущая пальцами гладкую тяжесть ее волос. Так он смотрел ей в глаза очень долго, и она не опускала взгляда. Лишь потом, когда она уронила книжку и он склонился над ней еще ниже, лишь тогда она прикрыла веки, а он побоялся посмотреть, остались ли на ее лице следы пережитого блаженства...

Он оторвался от нее и почувствовал, что краснеет.

— Присядь-ка, — просто сказала она. Потом приподнялась, откинула одеяло, спустила с дивана ноги и села. Он никак не мог взять в

толк, почему его охватила такая радость. Взяв со стула чашку, он переставил ее на стол позади себя и сел.

Она сказала:

— Ты почему-то улыбаешься, даже смеешься. Что случилось?

Он ничего не ответил, отдавшись приятно-му ощущению тепла от печки за спиной.

— Боже мой, — опять сказала она, вставая.

Потом взяла со стола банку с повидлом, хлеб и нож, опять поставила все это на стол, и он впервые увидел так близко ее руки: они были узкие и маленькие, почти как у ребенка, удивительно крошечные. Руки эти дрожали...

— Ты, наверное, голоден, да?

— Да, — откликнулся он, выпрямляясь и глядя ей в лицо; глаза ее влажно блестели.

Он взял сигарету из пачки, лежавшей на столе, оторвал полоску от яркой этикетки на банке с повидлом и скрутил ее в жгут, чтобы прикурить от огня в печке. Она подняла на него глаза:

— Тебя долго не было дома. Мне показалось очень долго, дольше, чем вся война...

Он погасил тлеющий жгут, положил его на край стола и остался стоять у печки...

— Я сварю кофе, — сказала она.

Он только молча кивнул. На ее лице читалось что-то похожее на растерянность. Оба они вдруг почувствовали себя чужими. Она

опустила глаза, решительно застегнула доверху застёжку-«молнию» на своем зеленом свитере, расправила руками смятую юбку и пригладила волосы. Вода закипела. Она положила ложечкой немного кофе в кофейник и чашкой с отбитой ручкой принялась наливать туда кипяток.

Ощутив ноздрями запах свежесваренного кофе, он понял, что вот-вот потеряет сознание от голода. Опустившись на стул, он загасил сигарету и сунул окурок в карман плаща.

Она долила кипяток в кофейник, прикрыла его жестяной крышечкой от банки с повидлом и присела рядом. Потом принялась медленно и спокойно намазывать повидло на хлеб. Но он заметил, что руки ее дрожали. Она положила ломти на маленькую желтую кафельную плитку, заглянула в кофейник и налила ему кофе.

— А ты разве не выпьешь со мной?

— Что ты сказал?

— Выпей.

Она улыбнулась, когда он протянул ей чашку, и налила и себе тоже.

Проглотив первый же кусочек хлеба с повидлом, он ощутил, что у него все поплыло перед глазами. Видимо, хлеб попал в некое тайное место у него внутри и вывел весь организм из равновесия. Голова у него кружилась, все вокруг вертелось, хотя глаза были закрыты. Ощущение походило на сильное, не совсем уж

неприятное покачивание, а сам он казался себе чем-то вроде дирижерской палочки, то взлетающей ввысь, то опадающей в темном и душном зале.

Открыв глаза, он отхлебнул глоток кофе, откусил кусочек хлеба, и чем больше он ел и пил, тем явственнее улетучивалось это ощущение раскачивания...

Он взял второй ломоть хлеба с повидлом и почувствовал, что ему стало намного лучше. Кофе был великолепный. Он вынул окурок сигареты из кармана и попросил:

— Дай мне прикурить, пожалуйста.

Она взяла бумажный жгут, лежавший на краю стола.

— Что ты решил? — спросила она. — Чем хочешь заняться?

— Еще не думал об этом, но чем-нибудь наверняка займусь. И даже рад этому.

— Правда?

— Правда, — подтвердил он. — Я буду рад заняться каким-нибудь делом. Мы это еще обсудим. А вот это тебе. — Он вытащил из кармана тонкий пестрый платок и развернул его перед ней. — Это мой подарок...

— Какой красивый! — сказала она и, взяв платок, накинула его на растопыренные пальцы рук, словно фату. — Красивый, — повторила она. — Очень красивый, я очень рада...

— А еще у меня есть вино, — заявил он. — Целая бутылка вина, немного хлеба и одно яблоко.

— Яблоко, — удивилась она, — это в самом деле большая редкость. Сейчас даже на черном рынке нет яблок...

Погасив сигарету, он встал.

— Пойдем, — сказал он тихо. — Пойдем со мной, хорошо?

— Хорошо, — сразу согласилась она. В ожидании он стоял у стола и смотрел, как она достала со шкафа подсвечник, сунула сигареты в карман и взяла коробок спичек. Лицо ее было совершенно серьезно, она едва сдерживала слезы. Заметив это, он подошел к ней.

— Если не хочешь, — сказал он, — если тебе не хочется идти со мной, я не обижусь. Я очень тебя люблю.

— Нет, — возразила она, и он увидел, что ее губы дрогнули. — Я очень хочу пойти с тобой... Просто мне грустно...

— Почему?

— Не знаю, — ответила она.

Он открыл дверь, выключил торшер и медленно, положив руку ей на плечо, повел ее по темной прихожей. Дойдя до своей комнаты, он открыл дверь и включил свет.

— Входи же!

Он снял руку с ее плеча и приглашающе склонил голову. Она очень медленно вошла. Он закрыл за ней дверь.

Она села на кровать, а он придвинул стол поближе к ней, чтобы она могла опереться локтями о столешницу.

— У тебя есть рюмки? — спросил он.

— Да, в шкафу, вон там, — и показала пальцем в угол, где, несмотря на электрический свет, было темновато. — В картонной коробке. Штопор там же.

Он порылся в пропахшем пылью шкафу и наконец наткнулся рукой на звякнувшую коробку.

— Иди сюда, — сказала она. Взяв у него рюмки, она тщательно протерла их шалью. Открывая бутылку вина, он заметил, что они засверкали в матовом свете лампы. Он разлил вино по рюмкам и сел рядом с ней.

— Ну, иди же ко мне, — прошептал он и поднял свою рюмку. — Ты теперь моя жена. Хочешь быть моей женой?

— Да, — серьезно ответила она. — Хочу.

— Я никогда не покину тебя до конца жизни.

— Я тоже останусь с тобой до конца. Я рада этому.

Они улыбнулись друг другу и выпили.

— Хорошее вино, — оценила она. — Очень мягкое и ароматное.

— Это церковное вино, — откликнулся он. — Я получил его в подарок.

— Церковное? — переспросила она. Он увидел, что она испугалась. Отодвинув рюмку

подальше, она вопросительно взглянула на него.

— Не бойся, — сказал он и на миг опустил ладонь на ее плечо. — Это вино, всего лишь вино. Разве ты веришь, что это кровь Христа?

— Да-да, конечно, — поспешно кивнула она. — Я верю. А ты нет?

— Я тоже. Раньше я тоже боялся его пить, но теперь уже нет.

— Иногда, — тихонько призналась она, — мне очень хотелось не верить, но я ничего не могла с собой поделать: я верю. Мне хотелось бы только, чтобы я могла пить вино, даже если оно — не просто вино. Мне очень грустно.

— Мне тоже, — подхватил он. — Мне тоже грустно. Нам очень часто будет грустно.

Она придвинула к себе рюмку и выпила вместе с ним.

— Я на самом деле боюсь, — сказала она.

Они долго лежали без сна и курили под завывание ветра, отламывавшего кусочки от кирпичей, сбрасывавшего вниз целые камни и большие пласты штукатурки с верхних этажей, которые, крутясь в потоках воздуха, опускались на землю, где рассыпались в пыль. Гансу был виден лишь слабо мерцающий силуэт любимой, лишь теплый красноватый отсвет, когда их сигареты одновременно вспыхивали: мягкие очертания груди под тканью рубашки и ее спокойный профиль. При виде

ее крепко, в ниточку сжатых губ, кажущихся узким темным провалом на лице, он исполнился бесконечной нежности. Они плотнее подоткнули одеяла со всех сторон и прижались друг к другу. На душе было так чудесно от сознания, что им сейчас тепло и будет тепло всю ночь. Ставни скрипели и хлопали, и ветер свистел сквозь разбитые оконные стекла, а наверху, в сохранившихся стропилах кровли, завывало и что-то металлическое с силой непрерывно билось о стену. И вдруг ее голос рядом произнес:

— Это сточный желоб, его уже давно оторвало. — Немного помолчав, она взяла его руку в свои и продолжала: — Это случилось еще до войны. Я жила уже здесь и, возвращаясь домой, смотрела на криво висящий кусок желоба и каждый раз думала: им нужно будет его починить. Но они не починили, а тут началась война. Он так криво и провисел всю войну, одна из скоб оторвалась и в любую минуту могла свалиться вниз. Я всегда слышала эти звуки, каждую ночь, если погода была ветреная, а я лежала здесь. На стене дома я ясно видела следы водяных потоков, которые во время каждого дождя косо хлестали по каменной кладке, оставляя вдоль моего окна белую полосу с темно-серыми краями до самой земли и большие круглые пятна слева и справа, белые в центре и темно-серые по краям... Потом я жила далеко отсюда, мне пришлось работать

в Тюрингии и в Берлине, а когда война стала близиться к концу, я вернулась сюда и увидела, что желоб все еще висит на том же месте. Полдома рухнуло, да и сама я побывала в далеких, очень далеких краях, повидала много горя, крови и смерти, натерпелась страху — и все это время здесь висел этот несчастный желоб, только теперь он направлял дождевую воду в пустоту, потому что в этом месте стены у дома больше не было. Черепица разлетелась, деревья срубили, штукатурка обвалилась, но этот кусок жести продержался на одной скобе все эти шесть лет.

Голос ее звучал все тише, она как бы напевала, сжимая его руку, и он почувствовал, что она счастлива...

— За эти шесть лет много раз лил дождь, много людей умерло, много церквей было разрушено, но сточный желоб все висел и висел, и, если было ветрено, я слышала, как он гремит по ночам. Ты веришь, что я этому радовалась?

— Верю, — ответил он...

Ветер внезапно улегся, все успокоилось, и холод потихоньку и незаметно подобрался ближе. Они подтянули одеяла повыше и спрятали под них и руки. В темноте уже совсем ничего не было видно, даже ее профиль он не мог различить, хотя лежала она так близко, что он ощущал ее дыхание: толчки теплого воздуха касались его кожи спокойно и равно-

мерно, и он решил, что она уснула. Но вдруг он перестал чувствовать ее дыхание и в испуге начал ощупью искать под одеялом ее руки. Но она сама нашла его руку и крепко сжала в своей. С ощущением счастья, какого он еще никогда не знал, он подумал о том, что ему сейчас тепло и с ней никогда не придется страдать от холода. Он еще крепче прижался к ней и так сильно сжал ее в объятиях, что ей пришлось поднять руки — им не было места между их телами. Он уже не ощущал кожей ее дыхания и решил, что она, вероятно, дышит и глядит вверх, в темноту. И тут впервые подумал: о чем она сейчас думает? Он надеялся, что ей сейчас хорошо, он любил ее, но совершенно не представлял себе, какие мысли приходили ей в голову. Он любил ее и знал, что она тоже его любит, но о чем она думает, он не знал и никогда не будет знать даже тысячной доли тех бесчисленных мыслей, которые будут приходить ей в голову в долгие часы дня и ночи. Он вдруг почувствовал себя очень одиноким, и ему показалось, что она отнюдь не так одинока, как он...

Вдруг он понял, что она плачет. Слышать он ничего не слышал, но по движениям ее левой свободной руки он догадался, что она вытирает слезы. И хотя это было лишь догадкой, он почему-то был твердо уверен, что догадка его верна. Он резко сел на кровати и в тот же миг ощутил холод, которым тянуло из-под

двери. Низко склонившись над ней, он вновь ощутил всем лицом нежное прикосновение ее теплого дыхания. Даже когда его нос прикоснулся к ее ледяной щеке, он все еще ничего не видел — таким мраком было окутано все вокруг. И вдруг почувствовал на губах ее слезинку. Он и раньше не раз слышал, что слезы — соленые на вкус, такие же соленые, как пот, и иногда пот стекал со щек ему в рот. Так что теперь он и сам убедился, что слезы соленые и теплые, как пот.

— Ложись, — тихонько сказала она, — не то простудишься, тут так сквозит...

Но он продолжал сидеть: ему хотелось увидеть ее лицо. Однако он ничего не видел, пока она неожиданно не открыла глаза. Тут в мягком блеске ее глаз он заметил и катившиеся по ее щекам слезы. Тогда он медленно откинулся на подушки и вновь принялся искать ее руку, ускользнувшую от него, когда он сел на кровати. Она не издавала ни звука, но он был уверен, что она продолжала плакать — ее левая рука то и дело поднималась к глазам. Он рывком повернулся к ней и стал дышать ей в лицо. Ему показалось, что она улыбнулась. Он подышал еще.

— Очень приятно, — тихо сказала она. — Сразу стало тепло.

Она тоже принялась часто-часто дышать ему в лицо, и от этого и ему стало очень теп-

ло и очень приятно. Так они поочередно дышали друг другу в лицо довольно долго...

Потом он в темноте поцеловал ее, но, почувствовав очень слабое, едва заметное сопротивление, вновь отодвинулся на прежнее место.

— Мне кажется, я тебя в самом деле люблю, — сказал он.

— О да, — откликнулась она, — в самом деле я тебя люблю...

И вдруг на него напала неудержимая зевота, рот свело словно судорогой, и навалилась такая невыносимая усталость... Она рассмеялась и обвила рукой его шею. Ему почудилось, будто она тоже зевнула, он легонько чмокнул ее в щеку, и ему померещилось, будто он еще никогда не целовал эту женщину, она показалась ему совершенно чужой...

Он обнял ее плечи, привлек к себе и заснул, прижавшись щекой к ее лицу. Во сне они попеременно согревали друг друга теплым дыханием, обмениваясь им словно ласками...

XV

Когда она отодвинула шкаф, от стены за ним отвалился большой кусок штукатурки, трещинки от которого быстро разбежались во все стороны. Кусок этот тяжело шлепнулся и разлетелся по полу по обе стороны шкафа, превратившись в сухое известковое крошево. Ей было слышно, как это крошево насыпалось кучкой позади задней стенки шкафа, и видно, как за ним обнажилась кирпичная кладка. Когда она рывком сдвинула шкаф вбок, кучка эта осела и просыпалась вперед между четырьмя его ножками. Известковая пыль поднялась грязным облаком и опустилась на все, что находилось в комнате. Этот мелкий отвратительный порошок скрипел у нее под ногами, куда ни ступи, сухое известковое крошево вдавливалось в большие трещины пола...

Она почувствовала, что слезы покатались по щекам, что непривычная и очень болезненная судорога отчаяния перехватила горло, что изнутри ее распирала боль, просившаяся наружу, но женщина усилием воли превозмогла эту боль и с перекошенным лицом вновь принялась за работу. Открыв окно, она вымела осыпавшуюся штукатурку, подняв це-

лое облако белесой пыли, и начала по второму разу вытирать тряпкой все в комнате. В душе она проклинала эту внезапно вспыхнувшую тягу к наведению чистоты. Откуда она только взялась? Женщина и сама не знала. Это инстинктивное стремление к порядку и чистоте было для нее внове, и она понимала его бессмысленность. Раньше все выглядело куда опрятнее: после того как она протерла пол сырой тряпкой, пятна и отвратительные разводы проступили еще отчетливее. То была давным-давно втопанная в пол грязь, которую раньше не замечали. Все ее усилия лишь помогли проявиться этим отвратительным пятнам, казавшимся ей теперь неистребимыми. Да и мебель, после того как она во второй раз смахнула с нее пыль, выглядела еще более потертой, чем раньше. Щербинки и царапины проступили явственнее, и стало очевидно, что комната заставлена безнадежной рухлядью, вряд ли заслуживающей ухода: дышащая на ладан кровать, стол с качающейся столешницей, у которого при попытке его сдвинуть того и гляди могли отвалиться ножки, да и оба шкафа, похожие на высокие темные гробики, все в пятнах от штукатурки, покосившиеся от дождевой воды и усыпанные поверху кусочками штукатурки, постоянно валившейся с дырявого потолка...

Перед ней открылась бездонная пропасть грязи, от которой она пришла в отчаяние и с

которой не имело никакого смысла бороться. Обои висели клочьями, штукатурка потрескалась и в некоторых местах не отваливалась кусками лишь благодаря клею, который должен был прилеплять обои к штукатурке, но теперь удерживал ее самое.

Когда она осторожно отодвигала в сторону второй шкаф, то услышала лишь тихий шорох: кучка давно отвалившейся штукатурки, скопившаяся за шкафом, рассыпалась по полу — вот и еще несколько пригоршней мусора...

Ведро за ведром втаскивала она в комнату, но стоило ей отмыть два квадратных метра пола, как вода становилась белесой и густой от песка и растворившихся в ней известки и гипса. И каждый раз, выливая очередное ведро грязной воды в груды камней, которыми был завален двор, она с трудом отмывала въедливый осадок. И каждый раз, входя в комнату с очередным ведром чистой воды, испуганно замирала на месте: те участки пола, которые она вымыла, успевали подсохнуть и выглядели белесыми, пятнистыми и неопрятными, в то время как те, которые еще предстояло вымыть, были ровного темного цвета.

Из-под плинтусов тоже постоянно высыпалась особенно мелкая известковая пыль, и малая толика такой пыли могла окрасить в белесый цвет целое ведро чистой воды, сделав ее непригодной для дальнейшей уборки...

Чувство, похожее на упрямство, заставляло ее продолжать борьбу и таскать ведро за ведром, хотя в глубине души она понимала, что это было бессмысленно: пятна проступали вновь, а новые обломки все сыпались и сыпались. Какая же уйма извести и гипса, цемента и песка ушла на эти стены, подумала она, когда, подхватив вовремя новый обвал, несла вниз целое ведро сухого мусора, вылезшего из-под кровати и оголившего лишь небольшой кусочек кладки. Ощупав рукой участок стены за кроватью, она убедилась, что штукатурка отделилась от стены: между нею и каменной кладкой находилась прохладная темная щель, куда удалось просунуть ладонь. А когда женщина осторожно постучала по стене, та отозвалась глухо и зловеще. Потолок был неровный, местами он провис, образовав трещины и складки в штукатурке — целую сеть мелких ответвлений, которые в один прекрасный день лопнут, и всё свалится вниз, породив новые массы пыли и извести, а те, смешавшись с водой, оживут на полу, создав белесую неистребимую пятнистость, проступающую вновь и вновь, словно неизлечимая сыпь...

Потом она лежала на кровати и курила, отвернувшись к стене, чтобы не видеть бесполезности своих многочасовых мучений, мучений, которые будут продолжаться до бесконечности. Будильник на комодѣ показывал пять ча-

сов: значит, она трудилась семь часов кряду, таская бесчисленные ведра в угоду этому новому для нее и ужасному инстинкту гнездования. А пол демонстрировал все оттенки от ярко-белого до черно-серого с дьявольской неравномерностью: пятнистый памятник ее усилиям.

Одежда прилипла к ее телу, казалось даже, что она обтянута ею, словно тонкой резиновой оболочкой, не дающей свободно дышать. Она почувствовала, что от нее исходит кисловатый запах пота и грязной воды, и жгучая тоска по туалетному мылу и чистой одежде выдавила из ее глаз слезы. Женщина погасила сигарету и съела немного хлеба, отламывая кусочки от большого ломтя и медленно отправляя их в рот...

На улице шел дождь, темнота пробралась в комнату, затушевав раздражающие следы ее бессмысленной уборки. И когда она доела хлеб, то вновь закурила сигарету и долго лежала под шум дождя, пуская колечками дым и мечтая. Она не могла сдержать слез, и они градом катились по ее щекам, быстро остывая, неудержимые и жгучие...

Проснувшись, она села на кровати и перепугалась, увидев, что уже шесть часов. Ей показалось, что водяные разводы на полу потемнели, и, хотя пол не стал выглядеть от этого более опрятным, все же в нем появилась некоторая гладкость и упорядоченность. Она так

стремилась к опрятности. Это стремление и заставило ее приступить к уборке, но теперь все оказалось бессмысленным, потому что грязь только нарастала, непрерывно нарастала, грязь не поддавалась уборке и, видимо, воспринимала ее как некий наглый вызов, удваиваясь и утраиваясь в ответ. Когда вдруг проглянуло солнце, она даже испугалась: шкафы стояли в тени и выглядели откровенно грязными, а пол демонстрировал свои дьявольские узоры во всей красе...

Она устало поднялась с кровати, поставила на плиту воду, положила дров в топку и, пока вода грелась, произвела осмотр своих сокровищ: полбутылки вина, полбуханки хлеба, немного повидла, кусочек маргарина, целая чашка молотого кофе, которую она тщательно обвязала вощенной бумагой, табак и папиросная бумага, а также деньги, деньги в ящике письменного стола, целая пачка замусоленных банкнот: без малого тысяча двести марок, да еще те пятьдесят, которые ей дал Ганс. Такое богатство казалось ей огромным и действовало умиротворяюще...

Она долго прижимала мыло к носу, потом потерла им лоб и щеки, чтобы лучше почувствовать его запах, запах этого тонкого обмылка, слегка отдающего ароматом миндаля...

Она услышала, что он опустил на пол прихожей что-то тяжелое — очевидно, мешок с чем-то тяжелым и твердым. И когда он вошел

в комнату, она поняла, что на улице опять идет дождь: лицо у него было мокрое и угольная пыль, смешавшись с дождевой водой, проложила черные дорожки по его бледному и усталому лицу. Казалось, он плачет черными слезами. Она увидела все это сквозь тонкую мыльную пленку, застрявшую на ее бровях и ресницах, вынуждая ее моргать. Она застеснялась своей обнаженной груди и мокрыми руками подтянула съехавшую вниз сорочку. Улыбнувшись, он поцеловал ее в затылок, и они на миг увидели в зеркале свое отражение: его темноволосую голову, лежавшую на ее плече, рядом с ее светлым лицом...

Они ужинали в постели. На стуле рядом с кофейником стояла тарелка с небольшой горкой бутербродов, намазанных чем-то красноватым. В комнате было тепло и приятно, на улице шел дождь, и шум непрерывного дождя завораживал. На потолке вновь проступили темные круги, как всегда при дожде, беззвучно впитывавшие в себя воду и расширявшиеся до тех пор, пока не высосут всю воду из лужи на полу разрушенного верхнего этажа. Быстрота и беззвучность этого впитывания, словно на промокашке, внушала некоторое беспокойство: эти круги напоминали глаза, наблюдавшие за ними. В центре они были темными, почти черными, и там висела капля, которая позже падала, а ближе к краю круги по-

степенно светлели и становились серыми. Эти круги возникали словно сигналы, словно предупреждающие знаки, которые как бы вспыхивали, несколько дней горели и вновь исчезали, оставляя после себя лишь темные очертания. Иногда от потолка отделялся кусок штукатурки, шлепался вниз, вздымая облачко известковой пыли, а на его месте обнаруживалось переплетение дранок — темная прогалина, медленно заполнявшаяся паутиной. В тех местах, где штукатурка с потолка уже обвалилась, всегда долго капало. Они передвинули кровать, и теперь она стояла посреди комнаты, усиливая впечатление надвигающейся опасности...

Они лежали рядышком, не дотрагиваясь друг до друга. Уже одно ощущение своей чистоты наполняло ее счастьем. Лишь время от времени, передавая ей кусок хлеба, он прикасался к ее лицу или плечу, и тогда она ему улыбалась.

— Кстати, — сказал он, — добытая тобой справка об освобождении из лагеря выдержала самую строгую проверку.

— Да?

— Я прошел по ней регистрацию, хотя, — он рассмеялся, — хотя я, судя по всему, был у них первым, кто освободился из лагерей. Они ожидали, что освобождение начнется лишь в середине июня. Сдается, нам лучше теперь же

исправить дату и подождать до середины июня. Но талоны я уже получил.

— Замечательно, — откликнулась она. — До какого срока?

— До конца июня. Почему знать, что до той поры произойдет...

— Да, — согласилась она, — до конца июня еще почти целый месяц. А угольные брикеты?

Он опять рассмеялся:

— А это совсем просто. Стоит только взобраться на поезд и сбросить брикеты на землю. Иногда поезда еще и останавливаются, а охраны почти что нет. Я всю вторую половину дня изучал это дело. Один человек мне даже точно подсказал, когда поезда прибывают... — Он полез в карман плаща, висевшего на спинке стула, и вынул клочок бумаги. — Утром в пять, потом около одиннадцати, а после обеда — вскоре после четырех и в шесть. Они ходят строго по расписанию. Надо бы обзавестись машиной. В пять утра еще нельзя ходить по улицам — комендантский час. Хочешь кофе?

— Хочу.

Она взяла чашку со стула, стоявшего возле кровати с ее стороны, и протянула ему. Он налил кофе.

— Да, — произнес он, — почему знать, что будет до конца июня, даже до середины. У нас есть деньги и талоны, хлеб и табак, и я буду каждый день приносить по сто брикетов, этого нам хватит. Я слышал, что за пятьдесят бри-

кетов можно получить одну буханку хлеба, а за десять — одну сигарету.

— Да, — подтвердила она, — вероятно, так оно и есть. Буханка стоит тридцать марок да сигарета шесть, а летом уголь дешев...

— Цена на него растет, когда термометр падает. Но тогда и хлеб дорожает... Зимой голод усилится...

— О зиме давай пока и думать не будем.

— Бога ради, — сразу согласился он, — давай не будем.

— Я очень счастлива, — медленно произнесла она.

— Я тоже. Даже не знаю, был ли я когда-нибудь так счастлив.

Они немного помолчали. Шум дождя за окном не утихал, в промозглых сумерках с набухших от избытка воды деревьев текло, а с потолка со стуком падали капли...

— Хочешь курить? — спросил он, но она не ответила, и, обернувшись, он увидел, что она уснула. Она улыбалась во сне, и он придвинулся поближе к ней, чтобы ее лицо легло на его грудь. «Я люблю ее, — подумал он, — и знаю ее, и многое в ней мне еще предстоит узнать. Но сколько бы ни узнал, мне все будет мало, почти ничего».

XVI

Он совсем выдохся. Давно уже не приходилось ему вставать так рано. Глаза сами собой закрывались. Было очень холодно, и даже неподвижные, едва заметно мерцавшие огоньки тоненьких свечек казались замерзшими. Желтые и пряменькие, тощие и нищенские стояли они перед этой голубоватой мглой позади алтаря, а он никак не мог понять, что это — беленая стена или выцветшая завеса. Подсвечники тоже были жалкие и такие же убогие, как покосившаяся да-рохранительница, которую они окружали. Люди молча сидели или стояли на коленях, и от некоторых исходил дурной запах — так пахнут люди, испытывающие голод и живущие в спертom воздухе: они пахнут капустой и холодным печным дымом. Шеи людей, стоявших перед ним, были тощие, из-под головных платков женщин выбивались волосы, и в этой смиренной и душной тишине слышался спокойный и ровный голос священника. Так говорит человек, у которого много времени: «*Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen*»*.

* Тело Господа нашего Иисуса Христа да сохранит душу твою для вечной жизни. Аминь (лат.).

Он никогда еще не встречал священника, который бы до конца произносил всю фразу святого причастия перед каждым причастником. Большинство из них лишь бормотали себе что-то под нос, проходя мимо, и, удаляясь, продолжали бормотать. Но этот останавливался и повторял перед каждым, кому он давал облатку, всю фразу. Видимо, причастие займет уйму времени. Где-то позади него дверь была неплотно затворена, из-под нее дуло. Щели в стенах и окна были забиты дощатыми щитами, но доски отсырели, набухли и расслоились, между слоями сочилась грязная жидкость: то был клей, который некогда скреплял доски...

Впереди, за алтарем, готическая арка, когда-то ведшая в главный неф, была не то замурована, не то просто затянута большим полотном. Он все еще не мог разглядеть, была там стена или только своего рода кулиса. Виднелись лишь позолоченные, стрельчато сходящиеся распорки псевдоготической колонны, концы которых встречались как раз над серединой алтаря.

Все происходило так медленно. Священник все еще раздавал облатки тем немногим, кто пришел причаститься, и все так же подробно и торжественно повторял над каждым из этих нищих стариков, воздев руку с тоненьким ломтиком хлеба: «Corpus Domini nostri Jesu Christi...»

Служка поднял воротник стихаря и, по всей видимости, потирал мерзнувшие пальцы под широкими оборками рукавов. Кроме того, он постоянно и отчетливо хлюпал носом. Священник, воздев руки к небу, читал заключительные молитвы, и служка вторил ему равнодушным и даже брюзгливым тоном. Время от времени он приподнимал голову и, видимо, искоса поглядывал на горевшие свечи, как бы не одобряя этот зряшный расход воска. Наконец он склонил колена перед молящимися, держа молитвенник перед собой, и священник медленно и торжественно сотворил над ним крестное знамение.

Несмотря на все, в душе у Ганса царили мир и радость. Он еще успел заметить, как поспешно молодой служка погасил свечи и зашагал вслед за священником в ризницу. Снаружи было уже совсем светло, дело, по видимому, шло к восьми часам. Он перешел на другую сторону улицы и позвонил. За железной решеткой двери раздался резкий и гулкий звонок. Экономка, женщина с широким красноватым лицом, открыла смотровое окошко в двери, пристально оглядела его и спросила:

— Месса уже кончилась?

Услышав «да», она молча распахнула перед ним дверь и, двинувшись в глубь коридора, бросила ему через плечо: «Входите же».

Он последовал за ней, но, когда в конце коридора в темноте уперся в деревянную перегородку, экономки уже не было, и он подумал: «Вероятно, мне надо подождать».

Откуда-то из-за угла, которого он не мог видеть, до него донесся звон посуды, и Ганс вдруг узнал отвратительный неопрятно-сладковатый запах, въевшийся в порядком обтрепанную и явно отсыревшую дерюгу и заполнявший весь коридор: то был запах разваренной сахарной свеклы. Клубы пара вырывались из-за угла, за которым, вероятно, находилась кухня, и ему в нос ударил теплый и противный запах. Очевидно, экономка варила сироп из свекольной ботвы, как делали почти все. У печки была плохая тяга, а дрова сырые, так что на него пахло дымом и запахом сажи. Низким голосом экономка распевала в кухне, куда вход ему, видимо, был заказан: «*Rorate Coeli desuper...*» и отвечала себе самой еще более низким басовитым речитативом: «*Et nubes pluant justum*»*. Очевидно, ее знание текста не выходило за пределы этих двух строчек, потому что она все повторяла и повторяла их. Он почувствовал, что его так и подмывает — в те длинные паузы, которые она делала, очевидно, для того, чтобы за-

* Кропите, небеса, свыше... и облака да проливают правду (Исаия, 45, 8).

няться печкой, — в эти долгие паузы его так и подмывало произнести латинские молитвы, которые только теперь, после многих лет, впервые пришли ему в голову. Почти десять лет назад учитель Закона Божьего вбил эти молитвы в головы своих учеников: «*Ne irascaris Domine... ne... ultra me*»* — те длинные песнопения, наполовину речитативы, которые ближе к концу звучали немного жизнерадостнее. Но сразу же после возникших в его памяти длинных песнопений вновь раздался голос экономки: «*Rorate Coeli desuper...*»

Наконец из входной двери в коридор упала полоса белесого света; Ганс узнал долговязую и тощую фигуру священника и заметил, что тот остановился перед закутком, в котором, по-видимому, хранился картофель и разный хлам. Священник приблизился, и когда Ганс ощутил в темноте его дыхание, а потом и разглядел его бледное лицо, то громко произнес:

— Шницлер.

— А-а, Шницлер, — поспешно пробормотал священник, явно нервничая. — Прекрасно, что вы пришли. Я рад...

Священник открыл какую-то дверь, из-за которой по полу пролегла полоса смутного

* Не гневайся, Господи... без меры... на меня (искаж. Исаия, 64, 9).

света, подтолкнул Ганса внутрь, и тот оказался в маленькой комнатке, до предела заставленной разными предметами — кровать, стулья, книжные шкафы и огромный стол, заваленный книгами и газетами. Тут же валялся и пакет с морковью...

— Извините меня за беспорядок, — нервно сказал священник. — У меня так тесно...

Ганс огляделся: комната и впрямь имела неряшливый вид, — правда, постель была застелена. Вероятно, то была единственная часть уборки, которую стоило производить в этой комнатушке. Пол тоже был чистым, если можно считать полом три квадратных метра досок с огромными щелями, в которых грязь поблескивала от влаги — признак того, что пол недавно мыли. На книжной полке некоторые книги стояли корешком к стене. Ганс подошел поближе, чтобы их перевернуть. И в этот момент в комнату вошел священник в сопровождении экономки. Он нес поднос с кофейником, двумя чашками, ломтиками хлеба на тарелочке и мисочкой жидкого свекольного сиропа. Экономка несла в одной руке большую охапку щепок, в другой — комок тонких и узеньких стружек...

— Вы ведь не откажетесь выпить со мной чашку кофе, да? — спросил священник. — На дворе холодно, верно? Июнь, а такой холод. — Он засмеялся.

Ганс и в самом деле был голоден, и здесь, в этой комнатухе, его опять знобило. Он сказал:

— Не откажусь, спасибо.

Экономка затолкала стружки в черное отверстие печки за кроватью, сунула туда же щепки и скомкала старую газету...

— Оставьте, Кэте, — заметил священник. — Я сам все сделаю.

Она вышла, и, как только дверь за ней закрылась, они услышали, что она опять запела, причем явно с большим удовольствием. Потом пение стихло, — видимо, экономка завернула за угол коридора.

Священник поднес горящую спичку к скомканной газете, и пламя, **синее и нерешительное**, начало пробиваться вверх. Снизу повалил дым, и из вьюшки выплыли маленькие светло-серые облачка.

— Вы уж извините, пожалуйста, что я заставил вас ждать, — сказал священник. — Но настоятель нашей церкви приболел, и мне пришлось отслужить еще одну мессу. Вчера я этого не знал. Надеюсь, я не оторвал вас от чего-то важного...

Теперь он стоял, потирая руки, возле печи и с любопытством поглядывал на Ганса. Потом опустил глаза и пробормотал:

— Вы не поверите, до какой степени промерзаешь в этой церкви. Мне кажется, что я

никогда не согреюсь. Что же будет, когда наступит зима?

Священник и в самом деле был очень бледен, уголки губ устало опущены. Под печальными красивыми глазами — больше ничего красивого в его лице не было — лежали темно-красные тени. Веки казались воспаленными. В печи начали потрескивать щепки, и священник, сунув руку под кровать, вынул из ящика два брикета и осторожно подбросил их в огонь. Видимо, его смущало, что Ганс молчит.

— Я вас в самом деле не задерживаю? — с тревогой спросил он.

Ганс покачал головой:

— Да нет. Вы просили меня как-нибудь зайти, вот я и...

— Совершенно верно, — перебил его священник. — Я просил вашу... вашу супругу вам передать... Минуточку. — Он подошел к столу, налил кофе в чашки и сел. — Берите, пожалуйста, хлеб и сироп.

— Я уже позавтракал. А вот кофе очень кстати. Такой горячий.

— Все же съешьте хоть чего-нибудь.

— Спасибо.

Священник ухватил ломтик хлеба с помощью ножа и указательного пальца левой руки, сложив их в виде щипцов, а ложечкой накапал на него немного сиропа, оказавшегося очень жидким и еще теплым. Он ел с види-

мым удовольствием, изредка оборачиваясь, чтобы взглянуть на печку, и с довольным видом замечая, что тонкая жесть начала розоветь...

Ел он медленно, как едят люди, желающие отодвинуть подальше тот ужасный миг, когда им больше нечего будет есть, и знающие, что они все равно не наедятся. Кроме того, от сиропа у него, по-видимому, разболелись зубы, потому что его лицо время от времени искажалось гримасой боли. Он пытался скрыть это, и тогда на его лице появлялась жалкая ухмылка. Последний ломтик хлеба он съел без сиропа и запил горячим кофе.

— Но курить вы, конечно, курите, — произнес он, подобрав с тарелки последнюю крошку.

— Да, — кивнул Ганс.

— Передайте мне, пожалуйста, вон тот пакетик.

Пакетик лежал на книжной полке между чемоданом и картонной коробкой, набитой, видимо, грязным бельем; он был заполнен грубо порезанными темно-коричневыми табачными листьями. Ганс передал ему пакетик, одновременно вынув из кармана свою табакерку, в которой не было уже ничего, кроме нескольких табачных крошек и тоненькой стопки папиросной бумаги.

— Вы сами скручиваете?

— Да.

Священник протянул ему пакетик с табаком и принялся набивать свою трубку, потом откинулся на спинку стула и сказал, откашливаясь:

— Не знаю, как начать, извините. У нас не принято приглашать к себе домой верующих. Мне кажется, это вызывает недовольство — наше начальство очень чувствительно к малейшим намекам на вербовку новообращенных. — Он закашлялся и вытер выступившую на губах белую пену. — Но я почел себя вправе пригласить вас, потому что знаком с вашей женой и, посетив вас, убедился, что именно вы приходили недавно ко мне в ризницу. Как видите, ризницу нам пришлось освободить — главный фронтон верхней церкви рухнул, и на потолке ризницы появились трещины...

— Я видел.

— Эта церковь очень некрасива, — сказал священник, пожав плечами. Очевидно, он предпочитал говорить о чем угодно, только не о том, о чем собирался. — Это все, что осталось от больничной часовни... А вы и не знали, что я знаком с вашей женой?

— Не знал.

— Я хоронил ее ребенка.

— Это был не мой ребенок...

— Вот как... — Священник опять откашлялся и начал нервно тереть трубку, видимо, она плохо раскуривалась. — Я его похо-

ронил. Ваша супруга — очень верующая женщина.

— Вот как?

— А вы не знали? — Он вынул изо рта трубку и взглянул на Ганса с искренним возмущением.

— Нет, — сказал Ганс. — Я не знал, что она очень верующая. Мы с ней говорили о религиозных вещах лишь недавно и очень кратко...

— И вы не женаты? Я хотел сказать — не обвенчаны?

— Не женаты даже гражданским браком.

Священник промычал что-то и вновь сунул трубку в рот. Табак плохо горел, приходилось все время сильно затягиваться, и от этого священник даже немного задохнулся. Спустя какое-то время табак наконец разгорелся, и по воздуху поплыли густые облачка дыма.

— Видите ли, — опять заговорил священник, — я уже несколько раз беседовал с вашей женой еще до того, как вы здесь появились. Она действительно верующая, даже набожная женщина. А вы этого не знали, в самом деле не знали?

Ганс молча покачал головой. Табак был очень крепкий, очевидно слегка подсушенный самосад. У него немного закружилась голова, и усталость разлилась по всему телу, словно медленно действующий яд, который отключает сознание. Он отхлебнул глоток кофе, заметил, что священник приподнял руку, чтобы

налить ему еще, и невольно заглянул внутрь черного и широкого, свободно свисающего рукава. Он увидел мускулистую волосатую руку, закатанный до локтя рукав рубашки и подумал: «Почему он закатывает рукава, если мерзнет?» Горячий кофе немного привел Ганса в чувство, и он заметил, что священник, видимо, все это время что-то говорил, а он несколько фраз, вероятно, пропустил, потому что теперь услышал:

— ...Святые Дары... Не понимаю, как можно верить в Бога и пренебрегать Его Дарами? Вы можете мне это объяснить? — Но ответа он явно не ожидал. — А сами вы тоже верующий или нет? — Священник бросил на него пронзительный взгляд и повторил свой вопрос уже громче и строже: — Вы верите в Бога?

Видимо, на этот вопрос он ждал ответа.

— Да, — не задумываясь ответил Ганс. На самом деле ему только сейчас пришло в голову, что он, в сущности, никогда не переставал верить. Все эти вещи разумелись для него сами собой. Хотя частенько он так уставал, что они казались ему не столь важными.

— Ага, все-таки да. — Священник улыбнулся. — Ну что ж, это уже немало. — Он еще шире улыбнулся, и на его лице вновь появился отблеск какой-то непробиваемой тупости. Он отложил трубку. — И у вас есть ходатай, да та-

кой убедительный, что вы, скорее всего, не сможете отказаться выполнить его просьбу.

Ганс недоуменно уставился на него. Покачивая головой, он с трудом произнес:

— Может быть, вы имеете в виду мою матушку...

— Не только матушку, но, вероятно, и отца... и еще кое-кого, кого вы совсем не знаете... Но один такой ходатай у вас есть наверняка. Уверю вас, к этим младенцам можно возносить молитвы, это однозначно и теологически исключает какие-либо сомнения, что они — на Небе, понимаете?

Ганс отрицательно затряс головой.

Священник растерянно посмотрел на него и испуганно пробормотал, прищурившись:

— Ну, этот ребенок — разве вы не поняли?

«Ах, вот он о ком, он имеет в виду ее ребенка», — подумал Ганс. Были дни, когда он о нем и не вспоминал, а иногда эта мысль преследовала его нестерпимой болью, несказанным страданием, которое он даже не знал, как назвать. Посмотрев священнику прямо в глаза, Ганс сказал:

— Так-то оно так, только это был не мой ребенок.

— И тем не менее... Вы живете с его матерью в такой интимной близости, с какой не может сравниться никакая другая на земле.

Гансу и так было ясно, что ребенок попал в Рай. В этом он не сомневался: шестинедель-

ное дитя конечно же немедленно попадает на Небо. Об этом не стоило и говорить. Но ему казалось глупым, что это крошечное существо должно быть его ходатаем.

Он аккуратно положил окурок в портсигар и спросил:

— Вы именно поэтому просили меня зайти к вам домой?

Священник кивнул:

— Простите меня. Как-никак... Все же я чувствую себя ответственным за...

Ганс со вздохом поднялся и шагнул к печке.

— Есть ли у вас нужда в брикетах? — спокойно спросил он.

— Да, — живо откликнулся священник и повернулся к Гансу, так что они могли смотреть друг другу в глаза. — Они такие дорогие...

— Я принесу вам немного.

— О, вы хотите сказать...

— Вам не нужно будет за них платить, они мне ничего не стоят...

— А-а они вам достаются бесплатно — по роду вашей работы.

Ганс рассмеялся. Он смеялся громко, казалось, за долгое время он впервые смеется так свободно и от всей души, он так хохотал, что поперхнулся и сильно закашлялся. Но как только вновь встретился с недоумевающим и улыбчивым взглядом священника, опять закатился хохотом.

— Прошу прощения, — выдавил он наконец. — Но «по роду вашей работы» — это блеск!

— Почему? — Видимо, священник все же немного обиделся. — Ведь это вполне возможно.

— Вот именно, — кивнул Ганс и почувствовал, что его внезапно охватила безумная тоска по Регине, что ему нестерпимо захотелось оказаться рядом с ней, услышать ее голос. — Вы правы, я имею дело с брикетами по роду моей работы: я их краду и на это живу.

— Ах, вот оно что! — откликнулся священник, слегка хохотнув. — Вероятно, это очень опасно?

— Да нет. Ничего страшного, все довольно просто. Нужно только не зарываться: если у тебя тридцать брикетов в сумке, тебе никто ничего не сделает. Но я-то таскаю в день три раза по тридцать. Для этого требуется соблюдать определенный ритм и режим дня. С виду я похож на железнодорожника — сумка, фонарь, даже расписание поездов имеется. И становлюсь на свой пост с точностью штатного служащего. Моя скромность, очевидно, внушает полицейским уважение. Так что я принесу вам брикетов.

— Я с радостью заплачу вам...

— Нет-нет. Вы доставите мне радость, если...

Ганс запнулся и с тревогой взглянул на священника. Впервые он испытал чувство, похожее на симпатию, но, по-видимому, не относящееся к этому человеку. Они посмотрели друг другу в глаза, и Ганс почувствовал, как осунулось его собственное лицо. От усталости кожа на нем сделалась такой дряблой, что ему показалось, будто он покрыт рыхлой кожистой оболочкой, не имеющей к нему никакого отношения. Он тихо промолвил:

— Я хотел бы исповедаться...

Священник встал с места так внезапно и стремительно, что Ганс вздрогнул.

— Быстро, быстро, садитесь-ка сюда! — воскликнул он.

На лице священника были написаны и радость, и испуг с примесью недоверия, и двигался он так суетливо и поспешно, словно ему нужно было поскорее бежать к плите, чтобы спасти выбегающее из кастрюли молоко.

— Садитесь же, — возбужденно повторил он, а сам снял с гвоздя свою епитрахиль, сдвинул в сторону пустые чашки и оперся локтями о стол. В жесте, которым он прикрыл свой профиль ладонью, было что-то профессиональное: одновременно заученное и машинное. Он прошептал: — Во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Ганс с запинкой повторил эти слова и добавил: «Аминь».

— Уж и не помню, когда я в последний раз исповедовался.

— Постарайтесь вспомнить...

— Какой у нас сейчас год?

— Сорок пятый, — ничуть не удивившись, ответил священник...

— Так вот, я точно помню, что исповедовался в сорок третьем году, это было зимой, перед сражением...

— Значит, год-два назад.

— Да, — кивнул Ганс и умолк. Взгляд его то и дело соскальзывал с руки священника, слегка перепачканной углем, и как магнитом притягивался к безнадежно чистой хлебнице и к пустым кофейным чашкам с черным осадком на фоне серой скатерти. — Большую часть времени я тосковал, — очень тихо сказал он. — Чужим богам не поклонялся и жене своей не изменял, покуда она была жива...

— Вы были женаты?

— Да... Я тосковал, — повторил он, — тосковал страшно... Ни святого причастия, ни церковной службы. Последняя была год назад. Да, точно, именно год назад. Несколько раз я нарушал шестую заповедь, то есть воровал. На войне воровал часто, да и теперь вот ворую брикеты. И живу с Региной... Но Регина мне жена, — добавил он немного увереннее.

Тут он разжал судорожно сжатый кулак и, веером растопылив затекшие пальцы, посмотрел сквозь них на священника и увидел, что тот улыбнулся, не зная, что Ганс на него смотрит.

— А как насчет молитв? — спросил священник.

— Даже не знаю, что сказать...

— Постарайтесь припомнить.

— Я так давно не молился. В последний раз это было в госпитале, наверно, года два назад. А вот с брикетами...

— Гм, — хмыкнул священник. — А сколько вы их берете? Больше, чем вам самому нужно?

— Да, я обмениваю их на хлеб и сигареты...

— Но и раздаете даром тоже?

— Да.

— Прекрасно. Только не пытайтесь на них наживаться... А жить-то ведь как-то надо, понимаете?

— Понимаю. — Ганс опять умолк.

— Это все? — тихо спросил священник.

— Да.

Священник откашлялся.

— Тоска, — сказал он, — это не дар Божий. Всегда об этом помните. Она может, вероятно, и приносить какую-то пользу, как и зло каким-то таинственным образом может, даже должно служить добру, понимаете? Но тоска никоим образом не приходит прямо по воле

Бога. Помните об этом. И каждый раз, как на вас нападет тоска, молитесь. Молитесь, даже если поначалу тоска лишь усилится. Слышите? Когда-нибудь молитва поможет. Продолжайте молиться... И обвенчайтесь... И примите Святые Дары, они — наша пища здесь, на земле. И не забывайте о том, что у вас есть заслуги. Считать себя таким грешником, который даже недостоин снисхождения, — тоже высокомерие. Правда, особый вид высокомерия, который легко спутать со смирением. Разве вы не хотите обвенчаться? Ваша супруга страдает от такого положения дел, поверьте мне...

— Обвенчайте нас.

Священник помолчал.

— Я связан законами. Нам не разрешается венчать церковным браком, если до этого не заключен официально брак гражданский. А почему вы не поженитесь официально?

— У меня фальшивые документы. А ведь их могут потребовать. Обвенчайте нас так...

Священник вздохнул и надолго умолк.

— Хорошо, я сделаю это, сделаю вопреки всем законам. Но с условием: вы пообещаете мне, что потом обязательно оформите свой брак официально и еще раз обвенчааетесь в церкви.

— Обещаю.

— Прекрасно. Приходите с женой после службы ко мне в ризницу. И приведите с со-

бой каких-нибудь свидетелей. Покайтесь в душе...

Пока священник, молитвенно сложив руки, молился — очень кратко и с большим чувством, — Ганс пытался вспомнить покаянные молитвы, выученные им когда-то. Но вместо этого незаметно для самого себя забормотал:

— Я так устал, так устал, я так голоден, мне плохо, сжальтесь...

И внезапно — даже не сразу поняв, что же произошло, — ощутил прилив сил. Видимо, у него опять случился небольшой приступ, и все поплыло перед глазами, потому что он вдруг увидел склоненное над ним бледное лицо священника, едва слышно бормотавшего: «Хвала Господу нашему, Иисусу Христу...»

Ганс сразу же вскочил и повернулся к печке. И тут ему вдруг пришло в голову, что на него не наложили никакой епитимьи.

— Вы не наложили на меня епитимью, — сказал он, не оборачиваясь.

— Каждый день вместе с супругой читайте один раз «Отче наш» и один раз «Аве Мария».

Голос священника звучал как-то обезличенно, даже слегка раздраженно и брюзгливо, но Гансу это было приятно. Сунув руку под кровать, он достал еще два брикета, подкинул их в печку и проронил:

— Я принесу вам еще, завтра утром. Вы должны принять это от меня...

Обернувшись, он увидел, что священник взял в руки свою табакерку и, набив ее доверху большими, плоскими табачными листьями, щелкнул крышкой:

— Тогда вы должны принять это от меня. Табак мне присылает брат, который его сам выращивает...

— Спасибо, — выдохнул Ганс. Прощаясь, он старался не смотреть священнику в глаза.

XVII

Пламя свечей отражалось от крышечки маленькой золотой дароносицы и матовым теплым пятном света плясало на стене, образуя дрожащий бублик, который как бы рвался куда-то, но не мог вырваться и бешено метался внутри крошечного кружка. Монахиня была погружена в собственные мысли и в своем широком и ниспадающем донизу облачении походила на какой-то каменный памятник, у которого живой была лишь бледная широкая ладонь, трижды благоговейно прижавшаяся к груди, чтобы потом окончательно исчезнуть в складках рясы.

Священник отщелкнул крышечку дароносицы, как открывают карманные часы. Пятно света на стене погасло, а в глазах умирающей при виде матовой облатки мелькнула радостная искорка. Она попыталась было поднять руки и прижать их к груди, но боль сковала ее члены, пронзила судорогой ее тело и словно огромным и зловещим кулаком сдавила все внутри. Кулак сжимался все сильнее, казалось, в нем не было ничего, кроме боли, дикой, рвущей все на куски боли, которая внезапно бесследно исчезла, да так быстро, что умирающая перепугалась и у нее к горлу подступила рво-

та — с такой скоростью, что выплеснулась через край ночного столика, быстро растеклась по нему, достигла подножия распятия и забрызгала одну из свечей. Но главная масса хлынула через край кровати на пол, образуя большую и быстро увеличивающуюся лужу, в которой чистый башмак монахини возвышался, словно остров. То была кровь, темная, почти черная кровь...

Монахиня вскрикнула, священник защелкнул дароносицу — на миг бублик вновь заплескал на стене в своем тесном кругу и исчез, когда священник спрятал дароносицу в складках своей сутаны...

Вид больной почти не изменился, она даже не испачкалась, лишь подбородку стекла капелька крови, черная и густая. Она заметила, что дароносица исчезла, и поняла, что ее лишают и этого последнего утешения. Она чувствовала только слабость, а боли в этот миг, показавшийся ей бесконечным, не было, пока невидимый кулак у нее внутри вновь не сжался — кулак, схвативший нечто невещественное: саму боль, эту смертельную пустоту, которая под огромным давлением смогла тем не менее лопнуть и вновь толчками очень быстро взметнуться вверх. На этот раз кровь, густая и клейкая, медленно текла по ее груди и впитывалась в простыню: по ней расплылось большое темное пятно, похожее на чернильное...

Лицо священника казалось отдельным светлым пятном: его темная сутана сливалась с темнотой комнаты, и в этой темноте белели лишь его усталое и испуганное лицо и руки, неподвижно и молитвенно сложенные там, где полагалось находиться его груди...

— Благословите меня еще раз, — прошептала она...

Глаза священника смотрели вниз, на ловкие руки монахини, орудовавшие половой тряпкой: серая, насквозь промокшая тряпка не впитывала в себя кровь, вязкую, как тесто, и быстро свертывающуюся, сгустки ее как-то странно отскакивали в сторону...

Он подошел поближе к кровати, благословил больную и прошептал:

— Ничего не бойтесь, вы приняли таинство покаяния и совершили обряд соборования. Теперь вы передадите свою боль нашему Господу, лишь Он знает, что такое боль человеческая...

— Да-да, — выдохнула она, — позовите доктора.

И в ту же секунду больная увидела, что доктор уже входит в комнату. Рядом с его коренастой фигурой двигалась еще одна, на ходу застегивая белый халат. По серьезному и в то же время усталому выражению лица, по легким и быстрым движениям рук она тотчас узнала медицинского светила. Она попыталась было сопротивляться, когда он задрал ей рубашку и

принялся ощупывать живот. Его безрадостное лицо приблизилось к ней почти вплотную, чуть ли не легло на ее грудь. Это надменное морщинистое лицо, привыкшее выполнять ритуал величия, и теперь изображало все его стадии: скепсис — удивление — раздумье — усталость. А пальцы светила тем временем ощупывали ее живот в области пупка. Когда он вдруг нажал посильнее, она вскрикнула — пять его пальцев показались ей пятью вгрызающимися в нее сверлами — и, заметив, что на его лице появилось легкое удовлетворение, прошипела:

— Прочь... Уходите прочь!

Но он принялся выслушивать ее сердце, и тут кровь уже не вылилась, а твердым черным сгустком вывалилась из ее рта на спину светила. Тот не обратил на это внимания и продолжал стоять, склонившись над ней, подобно генералу, изучающему карту, в то время как снаряды уже рвутся рядом с его штабом; генерал знает, что его отступление в любом случае будет прикрыто и ордена пожалованы, а это все — мелочи, лишь служащие к его вящей славе. Главное — выдержка...

Хотя он давно уже констатировал то, что сегодня надо было констатировать, он еще немного постоял над больной, потом выпрямился, спокойно прикрыв ее одеялом, и жестом пригласил другого доктора отойти с ним в угол комнаты...

— Пленка у вас с собой?

— Да, ее только что принесли.

Светило вынул пленку из конверта, дал знак монахине поднести поближе к нему подсвечник и заметил, что священник вновь приблизился к кровати. Пламя свечей придавало мутной пленке необычную красноватую прозрачность и выявило странный темно-серый круг, на фоне которого отчетливо вырисовалось несколько резко очерченных черных точек...

— Невероятно, — пробормотал светило, — невероятно, что она все еще жива...

— А вот снимок, сделанный четыре недели назад...

Доктор дал знак монахине немного пригнуться, поскольку ее тень падала на вторую пленку, и трижды постучал пальцем по красновато-серому фону.

— Одна, вторая, третья, — заметил он. — Не больше. Я сам делал этот снимок...

— Вторая тоже...

— Это, видимо, распространяется, как... как бородавки, которые внезапно покрывают всю руку. По-моему, клетки опухоли разносятся с кровотоком и поэтому, подобно бородавкам на коже, могут рассеиваться... Может быть, причина нервного свойства?

Светило промолчал. Потом взял из рук коллеги вторую пленку и, сравнив обе, пробормотал:

— Я бы не поверил, что оба снимка сделаны с таким коротким интервалом, если бы не...

— Уверяю вас, так оно и есть.

— Конечно. Впрочем, этот феномен мне известен — он встречается крайне редко. Разрушение органа происходит в геометрической прогрессии. Было бы весьма интересно, — он понизил голос, — иметь снимок теперешнего состояния. Или хотя бы сделать анализ крови из горла. — Он криво усмехнулся. — Большая порция этой крови находится на моем халате. Нам необходимо переговорить с ее свекром. Проводите меня, пожалуйста. — Он еще больше понизил голос: — Если бы мы могли произвести вскрытие! Пойдемте...

Больная видела, что священник стоит совсем рядом, но не слышала его голоса. Лишь его лицо было отчетливо видно. Казалось, волнение и усталость на нем отчаянно боролись друг с другом, губы его энергично шевелились, но она ничего не могла разобрать, и это быстрое и беззвучное бормотание напомнило ей счастливый шепот влюбленного: в огромных красивых глазах священника были написаны страх и беспричинная радость...

— Деньги, — выдавила она. — У меня очень много денег. Они должны достаться вам. Вы меня слышите?

Она увидела, что он кивнул, и беззвучное бормотание прекратилось. Его губы только тихо дернулись...

— Вам достанется много денег... Ни пфеннига не давайте этим... Все — только вам... Раздайте эти деньги... Все раздайте, слышите?

Он снова кивнул.

Потом ей померещилось, будто рядом стоит Вилли... Его фельдфебельские ромбики светились в темноте, он опустил на колени, и его серебристые галуны на воротнике и две поблескивающие полосы с ромбиками на зеленом сукне погон оказались совсем близко от ее лица. Лицо Вилли было бледное, осунувшееся и настолько потухшее от усталости, что она не нашла в нем ни следа былой насмешливости.

Когда он наклонил голову, она увидела в его волосах проплешины на затылке, заметила грубые рубцы и услышала, как он сказал:

— Я люблю тебя, как любят памятник. Не тебя, а только памятник, потому что когда-то я тебя любил... Я это еще помню. — На миг он снова поднял голову, потом опять стал виден только его затылок. — Но тебя я хотя бы не ненавижу, а это уже много... Я тебя не ненавижу и хотел сказать тебе «до свиданья», еще раз с тобой повидаться. Но больше мы не увидимся.

Она хотела положить руки на его голову, но у нее ничего не вышло. Между фельдфебельскими погонами вдруг оказалось лицо священника, и совсем другой голос ей сказал:

— Не думайте о деньгах в этот час, когда вы...

— Нет, — прошептала она, — я буду думать о деньгах, я хочу, чтобы вы...

Вновь перед ней оказалась голова Вилли, и обе головы сменяли друг друга, как картинки, которыми быстро обмениваются, голоса тоже сменяли друг друга, и один голос обращался к ней на «ты», а другой на «вы».

— Только старику не давай ни пфеннига, обещаю мне...

— Когда стоите перед престолом Господа нашего, нельзя...

— Я его ненавижу... Так обещаю же мне....

Вместе с голосом Вилли она слышала артиллерийскую канонаду, снаряды рвались где-то в городе с ужасающим грохотом, непохожим на взрывы бомб...

— А теперь я прочту апостольский Символ Веры...

В тот миг, когда вернулся этот голос, артиллерийская канонада утихла.

— Мне пора... Итак...

— ...зачат от Святого Духа, рожден Пресвятой Девой Марией...

Она видела, как серая фигура двинулась к двери, открыла ее и закрыла за собой, и, когда дверь хлопнула, окончательно умолкли и глухие удары снарядов.

— Спустившись в ад...

Боль была теперь похожа на очень тихое жужжание сверла, которое нарастало, как вой сирены, и, казалось, перемешивало и сжима-

ло все ее внутренности, чтобы выдавить их наверх... Она ощущала их, как огромный ком в горле, и уже не замечала, что кричит в голос, уже не слышала своего голоса, и последнее, что она видела, были эти беззвучно шевелящиеся губы...

Горячая и темная струя, изогнувшись, задела верхней частью дуги подбородок священника. Отвратительный жирный запах крови забрался в его ноздри, вызвав тошноту. Священник поспешно вскочил, но было поздно: сутана его была растегнута и кровь, хлынувшая на рубашку, медленно потекла вниз. Он ощутил ее мокрую тяжесть. Потом он вынул из кармана золотую дароносицу и испуганно осмотрел ее. Она была испачкана кровью. Осторожно охватив ее ладонью, чтобы не выскользнула, священник торопливо вытер загрязненное место о рукав, заметив при этом, что монахиня склонилась над кроватью так поспешно, что пламя свечей заколыхалось и силуэт небольшого распятия на стене сильно увеличился. Тень крошечной поперечины креста широкой и темной полосой на миг взвилась к потолку. Потом пламя улеглось, и большая тень распятия опустилась вместе с ним, уменьшилась, и священник увидел тень другой формы: теперь она была похожа на гасильник для свечей. Тот появился в виде большого капюшона, медленно опустился, прикрыв собою одну из свечей, и в том углу, где она стояла, стало темно, а тень распятия пере-

местилась немного влево, ближе к кровати, где горела теперь только вторая свеча...

— Она умерла? — тихо спросил он.

Монахиня молча кивнула.

— Господи, милостиво прими ее бедную душу...

Священник обернулся: в комнату медленно входил человек, которого он раньше мельком заметил в коридоре, — худощавая фигура в черном с властным лицом, и священник перепугался, увидев слезы на этом окаменевшем старом лице...

«Вероятно, ее отец», — подумал он, отходя в сторону, чтобы пропустить вошедшего к кровати, монахиня тоже посторонилась. Только теперь священник смог посмотреть на покойницу: небольшое лицо ее было желтого цвета, рот еще приоткрыт, словно для того, чтобы выпустить новые потоки крови. И этот открытый, искривленный от боли рот придавал лицу выражение бесконечной усталости и отвращения.

Монахиня сделала священнику знак уходить, и он вернул золотую дароносицу на ее место в нагрудном кармане, а выходя из комнаты, тщательно застегнул все пуговицы на сутане...

XVIII

Фишер взглянул в сторону двери и, когда убедился, что она закрыта, нагнулся и отпер ночной столик. Вынул из него шлепанцы, пару грязных скомканных вместе чулок и тут, совсем низко склонившись к полу, заметил следы крови — тонкую темную корочку, приставшую к полу. Он вздохнул, поглядел вверх на свечи и ощутил нечто вроде стыда, когда, задыхаясь от усилий и опершись о край кровати, отодвинул в сторону ночную посудину. В голову лезло все, что он за свою жизнь слышал о судебных процессах по наследованию, и он весь взмок, увидев, что в ночном столике той записки тоже не оказалось. Он вздрогнул, когда замочек щелкнул, и, опираясь о пол, чтобы встать, вдруг обнаружил в полутьме под кроватью чемодан. Тогда он плашмя лег на пол и попытался дотянуться до его ручки. Но чемодан был задвинут так далеко, что достать его не удалось, и Фишеру пришлось, пришлось-таки, пригнув голову, залезть почти целиком под кровать и на ощупь ползти вперед. Его затошнило от омерзения — он лежал, распластавшись на животе, во всяком мусоре, утонувшем в отвратительно толстом слое пыли, а когда подобрался, чтобы продвинуться

еще немного вперед, то уткнулся кончиком носа в эту грязь и какие-то нитки попали ему в рот. Он закашлялся и из-за кашля не смог ухватить ручку чемодана. Задержав дыхание, он подавил кашель и наконец взялся за кожаную ручку. Наступила полная тишина. И в этой тишине он слышал, что дверь открылась и вновь закрылась. Фишер не шевельнулся. Послышался звук одного-единственного шага, и вновь наступила тишина. Он подумал, что в комнату вошел кто-то и этот кто-то теперь смотрит на его ноги, на его ботинки, на всю эту жалкую нижнюю половину мужского тела, лежавшего под кроватью. Он мысленно выругался, и этот злобный и нервный внутренний монолог принес ему облегчение. В голове его звучали слова, которых он еще никогда в жизни не произносил и о существовании которых едва догадывался, — «говно, дерьмо собачье»... С души словно камень упал, и он решил вылезти. Упираясь одной рукой в пол, а другой держа чемодан за ручку, он медленно пятился назад, энергично выдыхая накопившийся в легких воздух. Вокруг него поднялось облако пыли, мусор лез в нос и рот, Фишер начал чихать. Потом воротником зацепился за пружину, вылезшую из матраса, и опять замер, бормоча себе под нос бессмысленные грязные ругательства, и почувствовал с отвращением и радостью, что пот и грязь на нем перемешались. Он дернулся сильнее, ощутил, что воротник лопнул, и мед-

ленно выполз из-под кровати спиной к вошедшему. Потом швырнул чемодан на кровать...

— Что вам угодно? — пробормотал он через плечо, вытирая лицо и отряхивая одежду.

Глаза его почти ничего не видели, сердце бешено колотилось, и лишь мало-помалу приостанавливалась бешено вращавшаяся перед ним картина: распятие на ночном столике, красноватая стена...

Мысленно он продолжал изрыгать ругательства, не замечая этого и не понимая, кому они предназначены; это был какой-то внезапный и непреодолимый порыв, приносивший ему облегчение и наполнявший странно пронзительной радостью, чуть ли не весельем висельника, — какое удовольствие, оказывается, произносить мысленно эти отвратительные слова, эти грубые выражения, присущие чуждому миру, легко распахнувшему перед ним свои двери. Казалось, он откупался ими от стыда: все было ему теперь безразлично — кроме того клочка бумаги...

Он хладнокровно уселся на кровать, вытер как следует лицо, и вращавшаяся картина перед его глазами постепенно успокоилась. На ее фоне вырисовалась неподвижная фигура бледного молодого человека, который враждебно его разглядывал, сжимая в руке солдатскую пилотку...

— Ну, что вам угодно? — крикнул Фишер. — Ищете кого-то?

Одновременно он отщелкнул замки чемодана, сунул руки в карманчики изнутри его

крышки и с любопытством взглянул на молодого человека.

— Фрау Комперц... Мне нужно видеть фрау Комперц... Комната шестнадцать. Мне сказали...

Фишер оживился, нащупав среди женского белья несколько книжек.

— Фрау Комперц умерла, — спокойно обронил он. И вдруг опять вспомнил, насколько ценным, просто невероятно ценным мог оказаться этот клочок бумаги для ее свекра, для ее братьев... Сердце его опять сильнее забилося, волнение перехватило горло. Ему показалось, что в этом чемодане он так ничего и не найдет, и он в полном отчаянии порывлся в белье, вытащил оттуда молитвенник и торопливо перелистал его. Он поднял голову, только когда на него упала тень молодого человека, — тут он замер и испытующе уставился в его бледное лицо.

— Фрау Комперц умерла. Что вам еще нужно? — крикнул он, когда молодой человек приблизился.

— Вы не там ищете, — сказал Ганс. Он медленно подошел к ночному столику, приподнял распятие и вытащил из-под него узкую белую полоску бумаги. — У себя дома она клала ее на это же место.

Фишер почувствовал, что его нервы сдают. Ему пришлось крепко сжать губы, чтобы зубы перестали стучать, но и за сжатыми губами он чувствовал бешеную дробь, которую выбивали

его челюсти. Он увидел, что незнакомец кладет бумажку в карман, и с трудом выдавил:

— Вы знаете... Вы хотите... Вам известен этот документ?..

— Известен, известен, господин доктор, я сам его ей доставил...

— Вы? Скажите, вы... Разве мы с вами знакомы?

— Да, мы с вами знакомы, — криво улыбнулся Ганс и повернулся к двери.

— Не уходите! — крикнул Фишер.

Ганс остановился.

Фишер сжал губы, чтобы сдержать эту нервную дрожь, из-за которой зубы вопреки его воле выбивали дробь. Во время этой вынужденной паузы он мысленно повторял все ругательства, которые только недавно открыл для себя, и с наслаждением артикулировал в уме распиравший его набор грязной брани, этот словарь отчаяния. И вдруг бросился на молодого человека. Фишер увидел на его потрясенном лице выражение полной растерянности и воспользовался первой же секундой, чтобы прижать того к стене и придавить своим телом его руки, а сам свободной рукой уверенно залез в левый карман незнакомца. Фишер громко рассмеялся, ощутив в руке ту полоску бумаги, и стремглав бросился за кровать. Там он приготовился к драке, выставив вперед кулаки, как делают боксеры перед схваткой. Но человек у стены не двинулся с места.

— Для вас эта бумажка бесполезна... Может, вам нужны деньги?! — выкрикнул Фишер. — Впрочем, — добавил он, слегка сбавив тон, — я не верю, что она настоящая.

Ответа не последовало. Человек, имени которого он не знал и лицо которого, кажется, где-то мельком видел, медленно оторвался от стены и шагнул к двери...

Ганс на секунду замер на пороге огромного вестибюля, залитого светом: слева он увидел улыбающегося ангела, который той ночью поздоровался с ним. Ганс никак не мог сдвинуться с места: ему почудилось, что ангел то ли помахал ему рукой, то ли улыбнулся краем губ, и он медленно повернулся к нему лицом. Но неподвижные глаза смотрели в пространство мимо него, а позолоченная лилия не шевельнулась. Только улыбка ангела, по-видимому, предназначалась ему, и он улыбнулся в ответ. Теперь, при ярком свете, стало видно, что улыбка ангела была горькой.

Ганс обернулся, лишь когда услышал голос Регины, и испугался, увидев в ее глазах радость.

— Ну, что случилось? — спросила она.

— Она умерла, — ответил он.

— Умерла?

Он кивнул.

— Что ж делать, — сказала она. — Найдем других свидетелей.

Ганс взял ее под руку, и они спустились по лестнице.

XIX

Величественный мраморный ангел молчал, хотя священник обращался явно к нему. Он спрятал свой профиль в черной грязи, и уплощенное место на его затылке, которым он был прикреплен к колонне, прежде чем от нее отделиться, создавало впечатление, что он был повержен в бою и теперь прижимается к земле, чтобы поплакать или напиться. Лицо его лежало в грязной луже, твердые локоны были забрызганы грязью, а округлая щека испачкана глиной. Только голубоватое ухо ангела блистало чистотой. Рядом валялся обломок его меча: продолговатый кусок мрамора, который ангел отшвырнул.

Казалось, ангел к чему-то прислушивается, но выражения его лица видно не было, так что никто не мог бы сказать, что на нем написано — насмешка или страдание. Ангел молчал. На его спине постепенно появилась лужица, и его голубоватые подошвы тоже блестели от влаги. Когда священник, прохаживаясь, чтобы размять ноги, иногда подходил поближе к ангелу, казалось, что ангел хочет поцеловать его ступни. Но лица он из грязи не поднимал и просто лежал неподвижно под слоем глины, как и положено убитому солдату...

— Так подумаем же о том, — воскликнул священник, — что пришел наш, а не ее черед грустить!

Пухлыми белыми руками он указал на склеп, где между двумя ионическими мраморными колоннами стоял гроб, покрытый черным сукном с кистями, с которых каплями стекала дождевая вода.

— Так подумаем и о том, — продолжал он, — что всякая смерть есть начало жизни.

Церковный служка, стоявший позади него, судорожно вцепился в ручку зонтика и старался так его наклонять и поворачивать, чтобы успевать за передвижениями священника, но иногда риторические обороты в его речи были столь внезапны, что юноша не успевал, и каждый раз, когда капля падала на голову священника, тот бросал гневный взгляд себе за спину, где бледный юноша держал зонтик, как балдахин...

— Подумаем о том, — воззвал священник к мраморному ангелу, — что и мы, мы тоже всегда стоим на пороге смерти. *Media in vita*, как сказано в одном средневековом стихотворении, — посреди жизни. Вспомним о ней, нашей дорогой покойнице, — любимой, осыпанной земными благами, окруженной многочисленной и влиятельной родней, которой наш город столь многим обязан, — вспомним же о ней; как внезапен был зов Господа, пославшего к ней своего незримого гонца...

На миг священник смущенно умолк: ему померещилось, будто не запятнанная грязью голубоватая мраморная щека ангела дрогнула от улыбки, и он испуганно обвел глазами скопище зонтиков, выискивая то место в толпе, где материя на зонтиках была особенно гладкая и дорогая...

— Каким ударом было для всей семьи известие о ее внезапной кончине!

Его взгляд переместился с рядов зонтиков туда, где небольшая группа людей покорно мокла под дождем.

— Как должны сокрушаться о покойнице бедняки, утратившие с ее кончиной верную и надежную покровительницу. Так будем же помнить ее и молиться о ней, мы все, да, мы все, ибо ведь к каждому из нас в любой момент может явиться тот незримый Божий посланец. Аминь! Аминь! — воскликнул он еще раз прямо в мраморное ухо ангела.

— Аминь! — ответила толпа, и из глубины небольшой церкви эхо откликнулось глухим бормотаньем.

— Давайте встанем здесь, — сказал Фишер. — Здесь сухо.

Он помог тестю подняться и уступил ему плоское местечко на задуге ангела, а сам перешел на его спину. Оба сняли шляпы, когда священник приступил к заупокойной службе.

Мраморный ангел начал медленно погружаться. Его округлая щека вжалась в мягкую

землю, а не заляпанное грязью ухо мало-помалу потонуло в жидкой грязи...

— Я принес это, — сказал Фишер. — Вот оно.

Комперц взял из его рук узкую полоску бумаги и прочел текст. Его печальное лицо дрогнуло, и он тихо пробормотал:

— Последний привет от моего сына, свидетельство его ненависти, которую я так и не смог понять.

— Ты полагаешь, это подлинник?

— А я никогда и не сомневался.

Он медленно порвал бумагу и осторожно засунул обрывки в перчатку...

Внутри церкви причетник и священник поочередно читали латинские молитвы, и Фишер с Комперцем заметили, что священник на миг замешкался, не зная, куда следует бросить горсть земли. В конце концов бросил ее прямо на гроб, и крошки глины рассыпались по мраморным плитам...

Ангел молчал. Под тяжестью двух мужчин он покорно опускался все ниже и ниже, его великолепные кудри погружались в грязную жижу, а обрубки рук все глубже зарывались в землю.

Об истории романа «Ангел молчал»

Генрих Бёлль (1917 — 1985) — знаменитый немецкий писатель, лауреат Бюхнеровской (1967) и Нобелевской (1972) премий по литературе, президент германского и международного ПЕН-клуба, давно и хорошо известен в нашей стране, поскольку в России его издавали довольно много — больше, чем кого-либо из современных немецких писателей. Бёлль, мастер тонкого психологического анализа, понравился российским читателям своей душевностью, явной симпатией к людям трудной судьбы, а также непреклонной антивоенной позицией.

Как же могло случиться, что его роман «Ангел молчал» пролежал в пыльном архиве на чердаке более 40 лет и лишь в 1992 году, к 75-летию писателя, был опубликован в Германии, причем имел такой успех у критики и читателей, что через два года был переиздан?

У этой книги особая судьба. Работу над ней Бёлль начал в марте 1949 года, когда его родной Кельн еще лежал в руинах, а люди ютились в развалинах и жили впроголодь. Именно поэтому издательство посчитало книгу, повествующую о первых неделях после войны, несвоевременной: в 1949 — 1950 годах началось «немецкое экономическое чудо» и взгляды читающей публики были направлены вперед, в будущее.

Писатель, однако, настаивал, и в 1949 году с ним заключили договор, предусматривавший даже ежемесячное пособие автору с сентября по декабрь 1949 года в размере 200 марок (в следующем году — только 100 марок). Эта деталь показывает, в какой чудовищной нищете жил писатель: ведь к тому времени он уже был женат и у него было двое сыновей, содержание семьи требовало денег.

Финансовые трудности не раз заставляли Бёлля отрываться от романа и браться за другие работы, приносящие быстрые заработки, — рассказы для газет и журналов.

В 1950 году Бёлль надолго забросил работу над романом, хотя тот был уже почти готов и дважды одобрен издательством, потребовавшим лишь незначительных доделок. В семье писателя ожидали рождения третьего ребенка, и Бёллю пришлось даже какое-то время поработать мелким чиновником в городском магистрате. Тем не менее издательство требовало предоставить ему роман, и Бёлль вместе с женой за три недели перепечатал рукопись и отправил ее директору.

Анонс о выходе романа в свет появился в проспекте издательства весной 1951 года. Однако Бёлль, и ранее выражавший недовольство и даже раздражение по поводу бесконечных требований издательства, теперь окончательно переключился на другую работу: он начал роман «Где ты был, Адам?» и сдал его уже в июле того же года, а рукопись книги «Ангел молчал» потребовал срочно вернуть.

Дело в том, что «Где ты был, Адам?» — роман о войне, его эпизоды не связаны друг с другом, и Бёлль легко разделил его на отдельные рассказы,

публикация которых быстро принесла ему столь необходимые деньги. Потом он проделал такую же операцию и с романом «Ангел молчал»: его фрагменты (в том же самом или переработанном виде) печатались в газетах и журналах в течение восьми лет.

Мотивы и фигуры действующих лиц романа «Ангел молчал» появлялись и позже, в уже знаменитых романах Г. Бёлля «Глазами клоуна», «Групповой портрет с дамой» и др.

Такова вкратце история романа, который критики считают ключом ко всему творчеству Г. Бёлля и который так надолго задержался с выходом в свет.

Е. Михелевич

Бёль Г.
Б43 Ангел молчал: Роман: Пер. с нем. — М.:
Текст, 2001. — 237 с.

ISBN 5-7516-0236-6

Свой первый роман Бёль написал в самом начале 50-х годов, а опубликован он был лишь спустя 40 лет. Описывая жизнь послевоенной Германии, автор противопоставляет жадности и стяжательству любовь двух усталых людей, измученных тяготами войны. На русском языке публикуется впервые.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)

Генрих Бёльль
АНГЕЛ МОЛЧАЛ
РОМАН

Редактор Ю.И.Зварич
Художественный редактор Е.П.Кузнецова

В оформлении использован фрагмент картины
Одилона Редона «Молчание»

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000
Подписано в печать 25.02.01. Формат 70 × 100/32.
Усл. печ. л. 9,75. Уч.-изд. л. 8,87.
Тираж 5000 экз. Изд. № 342.
Заказ № 3186

Издательство «Текст»
125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82
E-mail: textpubl@mtu-net.ru
<http://www.mtu-net.ru/textpubl>
Представитель в СПб. и «Книга — почтой»:
(812) 311-96-31

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г.Можайск, ул. Мира, 93

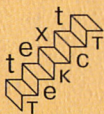
Серия «ТЕКСТ»

Книги карманного формата

- [35] Генрих Бёлль. БЕШЕНЫЙ ПЕС**
- [36] Конни Палмен. НАСЛЕДИЕ**
- [37] Пелем Г. Вудхаус. ВЕЧЕРА С МИСТЕРОМ
МУЛЛИНЕРОМ**
- [38] Генри Джеймс. ДЭЗИ МИЛЛЕР**
- [39] Юрек Бекер. БОКСЕР**
- [40] Леон де Винтер. СЕРЕНАДА**
- [41] Хуго Лёчер. НОЙ**
- [42] Энтони Берджесс. ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЧАЕПИТИЮ**
- [43] Ян Гийу. ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ**
- [44] Поль Констан. БАНАНОВЫЙ ПАРАДИЗ**
- [45] Жан Руо. ПОЛЯ ЧЕСТИ**
- [46] Сигрид Унсет. МАДАМ ДОРТЕЯ**
- [47] Жак Шессе. ЛЮДОЕД**
- [48] Амин Маалуф. ВРАТА ЛЕВАНТА**
- [49] Владимир Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ**
- [50] Томас Клейтон Вулф. СМЕРТЬ — ГОРДАЯ СЕСТРА**
- [51] Жак Превер. ЗРЕЛИЩЕ**
- [52] Анита Брукнер. ОТЕЛЬ «У ОЗЕРА»**
- [53] Анна Вяземски. ГОРСТКА ЛЮДЕЙ**
- [54] Жан Жене. ТОРЖЕСТВО ПОХОРОН**
- [55] Пелем Г. Вудхаус. МИСТЕР МУЛЛИНЕР
РАССКАЗЫВАЕТ**

Эта книга отнюдь не меняет
нашего представления о Бёлле.
Напротив, она дополняет его
и позволяет по-новому взглянуть
на раннее творчество писателя.
«Ангел молчал» — это ключ
к пониманию романиста
Генриха Бёлля.
«Франкфуртер Альгемайне»

«Ангел молчал» — первый роман
лауреата Нобелевской премии Генриха Бёлля.
Книга была написана в начале пятидесятих годов
и вышла в свет лишь спустя сорок лет.
На русском языке публикуется впервые.



ISBN 5-7516-0236-6



9 785751 602369